



Карина
Добротворская

Кто-нибудь видел мою девчонку?

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

100 писем к Сереже

Очень личные истории

Карина Добротворская

**Кто-нибудь видел мою
девчонку? 100 писем к Сереже**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Добротворская К.

Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже /
К. Добротворская — «Издательство АСТ», 2019 — (Очень
личные истории)

ISBN 978-5-17-115170-6

Они считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых – кинокритик и сценарист Сергей Добротворский и его юная жена Карина. Но счастливая романтическая история обернулась жестким триллером. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. В автобиографической книге «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже» Карина Добротворская обращается к адресату, которого давно нет в живых, пытается договорить то, что еще ни разу не было сказано. Хотя книга написана в эпистолярном жанре, ее легко представить в виде захватывающего киномана из жизни двух петербургских интеллектуалов, где в каждом кадре присутствует время. Сергей Николаевич, главный редактор журнала «СНОБ»

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-115170-6

© Добротворская К., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

1	7
2	8
3	10
4	11
5	13
6	15
7	16
8	17
9	18
10	20
11	22
12	24
13	25
14	27
15	28
16	30
17	32
18	34
19	35
20	36
21	37
22	39
23	41
24	42
25	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Карина Добротворская

Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже

*Любить больно. Будто дала позволение освежать себя, зная,
что тот, другой, может в любую минуту удалиться с твоей кожей.
Сьюзен Зонтаг. “Дневники”*

*Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула: “Пустите меня
к нему!”, но в могилу за мужем не пошла...
А. П. Чехов. “Оратор”*

Семнадцать лет назад, в ночь с 26 на 27 августа 1997 года, умер Сергей Добротворский. К тому моменту мы уже два месяца были в разводе. Таким образом, я не стала его вдовой и даже не присутствовала на похоронах.

Мы прожили с ним шесть лет. Сумасшедших, счастливых, легких, невыносимых лет. Так случилось, что эти годы оказались самыми главными в моей жизни. Любовь к нему, которую я оборвала, – самой сильной любовью. А его смерть – и моей смертью, как бы пафосно это ни звучало.

За эти семнадцать лет не было ни дня, чтобы я с ним не разговаривала. Первый год прошел в полусознательном состоянии. Джоан Дидион в книге “Год магических мыслей” описала невозможность разорвать связь с умершими любимыми, их физически осязаемое присутствие рядом. Она – как и моя мама после папиной смерти – не могла отдать ботинки умершего мужа: ну как же, ему ведь будет не в чем ходить, если он вернется, – а он непременно вернется.

Постепенно острая боль отступила – или я просто научилась с ней жить. Боль ушла, а он остался со мной. Я обсуждала с ним новые и старые фильмы, задавала ему вопросы о работе, хвасталась своей карьерой, сплетничала про знакомых и незнакомых, рассказывала о своих путешествиях, воскрешала его в повторяющихся снах.

С ним я не долюбила, не договорила, не досмотрела, не разделила. После его ухода моя жизнь распалась на внешнюю и внутреннюю. Внешне у меня был счастливый брак, прекрасные дети, огромная квартира, замечательная работа, фантастическая карьера и даже маленький дом на берегу моря. Внутри – застывшая боль, засохшие слезы и бесконечный диалог с человеком, которого больше не было.

Я так свыклась с этой макабрической связью, с этой Хиросимой, моей любовью, с жизнью, в которой прошлое важнее настоящего, что почти не задумывалась о том, что жизнь может быть совсем другой. И что я снова могу быть живой. И – страшно подумать – счастливой.

А потом я влюбилась. Началось это как легкое увлечение. Ничего серьезного, просто чистая радость. Но странным образом это невесомое чувство, ни на что в моей душе не претендующее, вдруг открыло в ней какие-то шлюзы, откуда хлынуло то, что копилось годами. Хлынули слезы, неожиданно горячие. Хлынуло счастье, перемешанное с несчастьем. И во мне тихо, как мышь, заскреблась мысль: а вдруг он, мертвый, меня отпустит? Вдруг позволит жить настоящим?

Годами я говорила с ним. Теперь я стала писать ему письма. Заново, шаг за шагом, проживая нашу с ним жизнь, так крепко меня держащую.

Мы жили на улице Правды. Нашей с ним правды. В этих письмах нет никаких претензий на объективный портрет Добротворского. Это не биография, не мемуары, не документальное свидетельство. Это попытка литературы, где многое искажено памятью или создано воображе-

нием. Наверняка многие знали и любили Сережу совсем другим. Но это мой Сережа Добротворский – и моя правда.

Цитаты без ссылок взяты из статей и лекций Сергея Добротворского.

Автор рисунков и стихов – Сергей Добротворский.

1

8 января 2013

Привет! Почему у меня не осталось твоих писем? Сохранились только несколько листов с твоими смешными стишками, написанными-нарисованными рукотворным печатным шрифтом. Несколько записок, тоже написанных большими полупечатными буквами. Сейчас я понимаю, что почти не помню твоего почерка. Ни мейлов, ни смс – ничего тогда не было. Никаких мобильных телефонов. Даже пейджер был атрибутом важности и богатства. А статьи мы передавали отпечатанными на машинке – первый (286-й) компьютер появился у нас только спустя два года после того, как мы начали жить вместе. Тогда в нашу жизнь вошли и квадратные дискеты, казавшиеся чем-то инопланетным. Мы часто передавали их в московский “Коммерсант” с поездом.

Почему мы не писали друг другу писем? Просто потому, что всегда были вместе? Однажды ты уехал в Англию – это случилось, наверное, через месяц или два после того, как мы поженились. Тебя не было совсем недолго – максимум две недели. Не помню, как мы тогда общались. Звонил ли ты домой? (Мы жили тогда в большой квартире на 2-й Советской, которую снимали у драматурга Олега Юрьева.) А еще ты был без меня в Америке – долго, почти два месяца. Потом я приехала к тебе, но вот как мы держали связь всё это время? Или в этом не было такой уж безумной потребности? Разлука была неизбежной данностью, и люди, даже нетерпеливо влюбленные, умели ждать.

Самое длинное твое письмо занимало максимум полстраницы. Ты написал его в Куйбышевскую больницу, куда меня увезли на скорой помощи с кровотечением и где поставили диагноз “замершая беременность”. Письмо исчезло в моих переездах, но я запомнила одну строчку: “Мы все держим за тебя кулаки – обе мамочки и я”.

Жизнь с тобой не была виртуальной. Мы сидели на кухне, пили черный чай из огромных кружек или кисловатый растворимый кофе с молоком и говорили до четырех утра, не в силах друг от друга оторваться. Я не помню, чтобы эти разговоры перемежались поцелуями. Я вообще мало помню наши поцелуи. Электричество текло между нами, не отключаясь ни на секунду, но это был не только чувственный, но и интеллектуальный заряд. Впрочем, какая разница?

Мне нравилось смотреть на твое слегка надменное подвижное лицо, мне нравился твой отрывистый аффектированный смех, твоя рок-н-рольная пластика, твои очень светлые глаза. (Ты писал про Джеймса Дина, на которого, конечно, был похож: “актер-неврастеник с капризным детским ртом и печальными старческими глазами”.) Когда ты выходил из нашего домашнего пространства, то становилась очевидной несоразмерность твоей красоты внешнему миру, которому надо было постоянно что-то доказывать, и прежде всего – собственную состоятельность. Мир был большой – ты был маленький. Ты, наверное, страдал от этой несоразмерности. Тебя занимал феномен гипнотического воздействия на людей, который заставляет забыть о невысоком росте: “Крошка Цахес”, “Парфюмер”, “Мертвая зона”. Ты тоже умел завораживать. Любил окружать себя теми, кто тобой восторгался. Любил, когда тебя называли учителем. Обожал влюбленных в тебя студенток. Многие из твоих друзей обращались к тебе на “вы” (ты к ним тоже). Многие называли по отчеству.

Я никогда тебе этого не говорила, но ты казался мне очень красивым. Особенно дома, где ты был соразмерен пространству.

А в постели между нами и вовсе не было разницы в росте.

2

22 января 2013

Я так отчетливо помню, как увидела тебя в первый раз. Эта сцена навсегда засела у меня в голове – словно кадр из фильма новой волны, из какого-нибудь “Жюля и Джима”.

Я, студентка театрального института, стою со своими сокурсницами на переходе у набережной Фонтанки, около сквера на улице Белинского. Напротив меня, на другой стороне дороги – невысокий блондин в голубом джинсовом костюме. У меня волосы до плеч. Кажется, у тебя они тоже довольно длинные. Зеленый свет – мы начинаем движение навстречу друг другу. Мальчишеская худая фигурка. Пружинистая походка. Едва ли ты один – вокруг тебя на Моховой всегда кто-то вился. Я вижу только тебя. По-женски тонко вырезанное лицо и голубые (как джинсы) глаза. Твой острый взгляд меня резко полоснул. Я останавливаюсь на проезжей части, оглядываюсь:

– Это кто?

– Ты что! Это же Сергей Добротворский!

А, Сергей Добротворский. Тот самый.

Ну да, я много слышала про тебя. Гениальный критик, самый одаренный аспирант, золотой мальчик, любимец Нины Александровны Рабинянц, моей и твоей преподавательницы, которую ты обожал за ахматовскую красоту и за умение самые путанные мысли приводить к простой формуле. Тебя с восторженным придыханием называют гением. Ты дико умный. Ты написал диплом об опальном Вайде и польском кино. Ты – режиссер собственной театральной студии, которая называется “На подоконнике”. Там, в этой студии на Моховой, в двух шагах от Театрального института (так написано в билете), занимаются несколько моих друзей – однокурсник Леня Попов, подруга Ануш Варданян, университетский вундеркинд Миша Трофименков. Туда заглядывают Тимур Новиков, Владимир Рекшан, длинноволосый бард Фрэнк, там играет на гитаре совсем еще юный Максим Пежемский. Там ошивается мой будущий лютый враг и твой близкий друг, поэт Леша Феоктистов (Вилли).

Мои друзья одержимы тобой и твоим “Подоконником”. Мне, презиращей подобного рода камлания, они напоминают сектантов. Андеграундные фильмы и театральные подвалы меня не привлекают. Я хочу стать театральным историком, азартно роюсь в пыльных архивах, близоруко щурюсь, иногда ношу очки в тонкой оправе (еще не перешла на линзы) и глубоко запутана в отношениях с безработным философом, мрачным и бородатым. Он годится мне в отцы, мучает меня ревностью и проклинает всё, что так или иначе уводит меня из мира чистого разума (читай – от него). А театральный институт уводит – каждый день. (Недаром театр на моем любимом сербском – “позорище”, а актер – “глумец”.)

Театральный институт был тогда, как сказали бы сейчас, местом силы. Это были его последние золотые дни. Здесь еще преподавал Товстоногов, хотя жить ему оставалось недолго, несколько месяцев. Ты называл его смерть счастливой – он умер мгновенно (про смерть говорят “скоростижно”, больше ведь ни про что так не говорят?), за рулем. Все машины поехали, когда включился зеленый свет, а его знаменитый “мерседес” не двинулся с места. Так умирает герой Олега Ефремова за рулем старой белой “волги” в фильме с невыносимым названием “Продлись, продлись, очарованье” – под тогдашний истерически-бодрый хит Валерия Леонтьева “Ну почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, потому, потому, что был он в жизнь влюбленный”.

Мы ходили на репетиции к Кацману. Его предыдущий курс был звездным курсом “Братьев Карамазовых” – Петя Семак, Лика Неволлина, Максим Леонидов, Миша Морозов, Коля Павлов, Сережа Власов, Ира Селезнева. Кацман любил меня, часто останавливал на институтских лестницах, задавал вопросы, интересовался, чем я занимаюсь. Я болезненно стеснялась, что-то лепетала про темы своих курсовых. Вместе с Кацманом на Моховой преподавал Додин и именно тогда выпустил “Братьев и сестер”, на которых мы ходили по десять раз. Лучшие педагоги были еще живы – студентки-театроведки млели от лекций Барбоя или Чирвы, в аудиториях витали эротические флюиды. Студенты-актеры носились со своими невоплощенными талантами и неясным будущим (про самых ярких говорили: “Какая прекрасная фактура!”); студентки-художницы носили длинные юбки и самодельные бусы (ты называл эту манеру одеваться “магазином Ганг”); студенты-режиссеры вели беседы о Бруке и Арто в институтской столовой за стаканом сметаны. Так что и ленинградский театр, и ЛГИТМиК (он сменил столько названий, что я запуталась) были еще полны жизни и притягивали одаренных и страстных людей.

Тогда, на Фонтанке, когда я остановилась и обернулась, то увидела, что ты тоже обернулся. Через несколько лет все запоют: “Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я”. Мне показалось, что ты посмотрел на меня почти презрительно. При твоём маленьком росте – сверху вниз.

Ты потом говорил мне, что не помнишь этой встречи – и что вообще увидел меня совсем не там и не тогда.

3

26 марта 2013

Так обидно, что сегодня тебя не было рядом со мной. Я ходила на выставку “Дэвид Боуи” в лондонском музее Виктории и Альберта. Я о ней столько слышала и читала, что казалось, я там уже побывала. Но, оказавшись внутри, почувствовала, что сейчас потеряю сознание. Там было столько тебя, что я эту выставку проскочила почти по касательной, не в силах впустить в себя. Потом сидела где-то на подоконнике у внутреннего музейного дворика и старалась удержать слезы (увы, безуспешно).

И дело не в том, что ты всегда восхищался Боуи и сам был похож на Боуи. “Хрупкий мутант с кроличьими глазами” – так ты его однажды назвал. И не в том, что твои коллажи, рисунки, даже твой полупечатный почерк так напоминали его. И даже не в том, что для тебя, как и для него, так много значила экспрессионистская эстетика, так важны были Брехт и Берлин, который ты называл городом-призраком, исполненным пафоса, пошлости и трагизма. Дело в том, что жизнь Боуи была бесконечной попыткой превращения себя в персонаж, а жизни – в театр. Сбежать, спрятаться, изобрести себя заново, обмануть всех, закрыться маской.

Я нашла твою статью о Боуи двадцатилетней давности. “Кинематограф по определению был и остается искусством физической реальности, с которой Боуи долго и успешно боролся, синтезируя собственную плоть в некое художественное вещество”.

Помню, как ты любовался его разноцветными глазами. Называл его божественным андрогином. Как восхищался его персонажем – ледяной белокурой бестией – в умозрительном и статичном фильме Осимы “Счастливого Рождества, мистер Лоуренс”, который ты любил за нечеловеческую красоту двух главных героев. Как говорил, что вампирский поцелуй Боуи с Катрин Денев в “Голоде” – едва ли не самый прекрасный экранный поцелуй. Тогда меня всё это не слишком впечатляло, но теперь неожиданно ударило в самое сердце. И в той же твоей статье я читаю: “Кинематограф так и не уловил закон, по которому живет это вечно изменяющееся тело. Но кто знает, может быть, именно сейчас, когда виртуальная реальность окончательно потеснила физическую, мы все-таки узреем истинный лик того, кто не отбрасывает тени даже в ослепительном луче кинопроектора”.

Ну почему, почему у меня текут эти глупые слезы? Ты умер, он жив. Счастливо женат на роскошной Иман, остепенился, обрел вполне себе физическую реальность – и как-то живет со своим виртуальным мифом.

А ты умер.

4

29 марта 2013

Сегодня так скучаю по тебе! Рылась в сети – вдруг найдется что-то, что я о тебе совсем не знаю? Разыскала письма Леньки Попова, блестящего театрального критика, одного из тех, кто называл тебя учителем. (Вот привычно написала “Ленька” и вспомнила, что Попов всегда страстно защищал букву “ё”. Так что – все-таки – Лёнька.) Он умер через два года после тебя – от лейкемии. Говорят, накануне смерти он просил театральную афишу – был уверен, что к концу недели сможет пойти в театр. Ему было тридцать три, меньше, чем тебе на момент твоей смерти. Он умер так нелепо, так рано. Почему? Он не убегал от себя (ты писал, что романтический герой всегда бежит от самого себя, а значит – по кругу), не осмыслял свой обожаемый театр как трагический медиум. Хотя что я о нем знала?

Лёнькины письма я тогда пропустила. Я столько лет после твоей смерти жила как сомнамбула – и так много всего мимо меня проскользнуло. В одном письме Лёнька пишет своему приятелю Мише Эпштейну, это 1986 год: “Мишка, ты видел этого человека?! Ну так что тут говорить? Говорить ли о том, какое счастье с ним работать, общаться с ним и вообще?.. Если он далеко не бездарный актер, гениальный организатор (это половина режиссерского успеха), великий педагог, непревзойденный рассказчик, собеседник и собутыльник, большой знаток современного искусства, философии, музыки – ну что там перечислять все его достоинства? После встречи с ним мы встречались с Трофименковым где-нибудь около полугода и не могли говорить ни о чем, кроме как о нем”.

Кажется, именно Лёнька, твой фанатичный студиец, затащил меня на премьеру пьесы Воннегута “С днем рождения, Ванда Джун!” в твоём театре-студии “На подоконнике”. А может быть, меня позвала Ануш, подруга первого года моей институтской жизни. По-армянски яркая Ануш носила смелые малиновые штаны из плащевки, которые я одалживала у нее в решающие моменты, и играла в “Ванде Джун” главную женскую роль. Ты потом не раз говорил мне, что режиссер должен быть влюблен в свою актрису, и, думаю, был немного влюблен в Ануш. Шла я на этот спектакль неохотно, ничего хорошего не ожидая. Я испытывала инстинктивное отторжение от всякой любительщины – от параллельного кино до подпольного театра. Меня миновал эйфорический этап группового единения, который, наверное, нужно пройти в молодости. Я ведь рассказывала тебе, что в детстве ревела от ужаса на демонстрациях, всегда боялась толпы и так и не полюбила большие компании. “Всякая стадность – прибежище неодаренности”, – цитировала я Пастернака. И до сих пор отовсюду сбегаю. То есть у меня даже получается веселиться, особенно если я выпью много шампанского, но быстро наступает момент, когда мне надо тихо исчезнуть.

Когда мы были вместе, ты всегда уходил со мной. А когда ты был без меня, ты оставался?

Твой спектакль “Ванда Джун” играли летом восемьдесят пятого года. Значит, мне было девятнадцать лет – как и Трофименкову, и Попову, и Ануш. А тебе – целых двадцать семь. Ну вот, а ты казался мне таким взрослым, несмотря на твой мальчишеский облик.

Мне выдали отпечатанную на ксероксе программку, из которой я узнала, что ты нарисовал ее сам. И что сам будешь играть одну из ролей – повешенного майора-нациста, явившегося с того света. А костюмы сделаны Катериной Добротворской – кажется, именно так я впервые узнала, что у тебя есть жена.

Жену мне показали – по-моему, она тоже появилась в спектакле в маленькой роли. Но на сцене я ее не запомнила. Меня поразило, какая она высокая – выше меня – и гораздо выше тебя. Смуглая, худая, с хрипловатым голосом, слегка восточным лицом и глазами без блеска.

Из того, что происходило на сцене, мне не понравилось ничего. Заумный текст, деревянная Ануш, еще какие-то люди, аляповато раскрашенные. Мне было неловко смотреть на сцену. Лёнька Попов в одном из писем писал, что процесс увлекал вас больше, чем результат. Мне теперь так стыдно, что я никогда не говорила с тобой об этой студии, об этом спектакле, отмахнулась от них, как от дилетантской ерунды. Ты, с твоим самолюбием, зная мое отношение, тоже об этом не вспоминал. Я вычеркнула целый – такой огромный – театральный кусок из твоей жизни. Считала его недостойным тебя? Ревновала к прошлому, где меня не было? Была равнодушна ко всему, что меня непосредственно не касалось? Или – как всегда – боялась любого подполья, чувствуя опасность, понимая, что мне там не место, что там ты ускользаешь от меня – и туда в конце концов и уйдешь? Я так хотела бы сейчас сесть с тобой на кухне над кружкой крутого черного чая (на твоей любимой кружке была эмблема Бэтмена) и всё-всё у тебя выпросить. Как вы нашли эту студию? Почему решили делать Воннегута? Почему выбрали такую нудную пьесу? И как это подвальное помещение отнимали, и как ты бегал сражаться за него по обкомам и пытался очаровать теток с халами на голове (я узнала об этом только из твоих коротких писем Лёньке Попову в армию). И правда ли, что ты был влюблен в Ануш? А отдал бы ты эту роль мне, если б я пришла вместе с ней в вашу студию “На подоконнике”? И как вы на этом подоконнике проводили дни и ночи? Все, конечно, смотрели на тебя восторженными глазами, открыв рот? А ты раздувался от гордости и был счастлив? Ничего никогда я так и не спросила, по-свински редактируя твою жизнь, которая в мою схему не укладывалась.

Да, всё в этой подвальной студии (довольно большой и даже неожиданно светлой) показалось мне тоскливым и бессмысленным. Всё, кроме тебя. Ты появился в черной рубашке, залитый кровью, с выбеленным и раскрашенным лицом, как на Хэллоуин, в женских сапогах и с игрушечной обезьянкой в руке. Демонический грим был не страшен, а смешон, но мне почему-то было не смешно. Сейчас я уверена, что ты рисовал свой грим с Боуи, но тогда я едва ли знала, кто это такой. Энергия, исходящая от тебя, была такой сильной, что у меня мурашки по коже пошли. Я вспомнила твой острый взгляд тогда, на Фонтанке. Когда ты выходил на сцену, я тоже остро чувствовала твое физическое присутствие.

Я всегда верила только в результат, меня не волновал процесс. Я не признавала гениев, пока не убеждалась, что они создали нечто и впрямь гениальное. С этого спектакля я вышла с ощущением, что посмотрела ерунду, созданную выдающимся человеком.

Прости, что я никогда тебе этого так и не сказала.

5

30 марта 2013

Я много лет о тебе ни с кем не говорила. Ни с кем. Я могла тебя процитировать или вспомнить одну из твоих блестящих реплик. Но говорить о тебе – нет, не могла. Было слишком больно. Возникало ощущение, что тем самым я тебя предаю. Или с кем-то делю. Даже если твои родители произносили что-то вроде “А вот Сережка бы, наверное, сейчас...” – я молчала в ответ.

И вдруг – я заговорила. С удивлением обнаружила, что не только не чувствую боли, произнося твоё имя или странное словосочетание “мой первый муж”, но даже получаю от этого удовольствие. Что это? Почему? Потому ли, что я стала тебе (и о тебе) писать, понемногу выпуская своих демонов? Или потому, что я влюбилась?

Сегодня я видела Таню Москвину – впервые за много лет. Вы вместе учились в институте, ты восхищался мощью её критического дара и способностью ничего и никого не бояться. Танька всегда резала правду-матку, была иррациональна, пристрастна и явно страдала от того, что её тонкая душа помещена в несообразно большое тело (ты наверняка так же страдал от своих “карманных” размеров). Однажды, когда мой сын Иван был ещё совсем маленьким, Москвина пришла ко мне в гости. Иван внимательно посмотрел на её яркое асимметричное лицо. Она, как и я, перенесла в юности неврит лицевого нерва. Когда меня в восемнадцать лет привезли с наполовину парализованным лицом в больницу, медсестра, записывающая мои данные, спросила: “Работаете, учитесь?”. – “Учусь в театральном институте, на театроведческом факультете”. – “Слава богу, что на театроведческом. Актрисы-то из вас теперь не выйдет, с таким-то лицом”. Что из меня теперь не выйдет красивой женщины и что это для меня куда большая драма, её не занимало.

– А почему у тебя один глаз меньше другого? – поинтересовался Иван у Москвиной.

– Сейчас я как дам тебе в глаз, и у тебя будет то же самое, – немедленно парировала Танька. То, что такое обычно не говорят маленьким детям, ей и в голову не приходило. Так она жила – ни в чем никаких ограничений. Ты свою бунтарскую природу мучительно укрощал, к тому же был деликатен и не любил задевать людей. А Танька позволяла себе всегда и во всем быть собой и ничего не делать наполовину. Если бутылка водки – то до дна. Если страсть – то до победного конца. Если ненависть – то до самых печенок. Она умела быть так упоительно свободной и так одержимо неправой, что ты немного ей завидовал. Она тебе всегда отдавала должное, как будто ваша группа крови, замешанная на питерском патриотизме, была одинаковой.

Сегодня Москвина рассказала мне, как ты впервые показал ей меня – в библиотеке Зубовского института на Исаакиевской, 5, куда вы с ней два раза в неделю ходили в присутствие.

– Смотри, какая девушка, – гордо сказал ты. – Это Карина Закс. Она очень интересуется рок-культурой.

– А наш роман уже начался тогда? – спросила я Таню.

– Кажется, нет. Но он уже явно был влюблен. Ну да, рок-культура, конечно. На третьем году обучения я написала курсовую работу под названием “Над пропастью во ржи”. Тогда было модно рассуждать про молодежную культуру. Альтернативную молодежь, разными способами выражающую презрение к обществу, почему-то называли системой, а мохнатых татуированных юношей, которые скандировали “Мы вместе!” на концертах “Алисы”, – системщиками (сейчас системой называют тех, кто группируется вокруг власти и денег, а системщиками –

тех, кто приводит в порядок компьютеры). “Мир, как мы его знали, подходит к концу”, – с особым ленинградским придыханием пел Гребенщиков, закидывая голову и закрывая глаза. Он был первым рокером, чью кассету я слушала по десять раз на дню, еще не зная, как он золотоволос и хорош собой. Ленинградский рок-клуб, погружавший нас в сексуальный экстаз, латышская картина “Легко ли быть молодым?”, Цой, похожий на Маугли и всегда одетый в черное, бешеный Кинчев с подведенными глазами в фильме “Взломщик”, передачи “Взгляд” и “Музыкальный ринг” на ленинградском телевидении, где взрослые дяди снисходительно пытались разобраться с неформалами и как-то отформатировать рокеров (легче всего этому форматированию поддавался, конечно, БГ, которому на любые системы всегда было наплевать). Я написала страстную курсовую от первого лица, где мой папа высказывал пошло-примирительные идеи старшего поколения, где институтские гардеробщицы ругали мерзкую волосатую молодежь и где цитаты из “Аквариума”, “Алисы” и шинкаревских “Митьков” иллюстрировали мои наивные мысли о духовной свободе. Эта захлебывающаяся студенческая работа понравилась руководительнице критического семинара Татьяне Марченко. Она показала ее Якову Борисовичу Иоскевичу, который вместе с тобой делал сборник статей о молодежной культуре. Меня вызвали на Исаакиевскую – на встречу с вами обоими. Я готовилась к этой встрече, безжалостно завивала длинные волосы горячими щипцами, румянила щеки ватой, густо красила ресницы (тушь надо было развести слюной) и слоями накладывала тональный крем. Зачем я это делала – понятия не имею, моя кожа была идеально гладкой и косметики не требовала. Но мне с детства казалось, что можно быть лучше, красивей, хотелось преодолеть разрыв между тем, какой я была на самом деле и какой могла бы быть, если б... Если б что? Ну хотя бы волосы были кудрявей, глаза больше, а щеки румяней. Как будто, намазывая лицо тональником (продукт совместного творчества *L’Oreal* и фабрики “Свобода”, конечно же, неправильного оттенка, куда темнее, чем требовался моей бледной коже), я пряталась под маской. При этом я надела джинсы с шестью молниями – молодежная культура все-таки. Не жук чихнул.

Я была уверена, что ты будешь меня хвалить, ведь не каждую студентку третьего курса собираются печатать во взрослом научном сборнике. Ты вошел на кафедру, смерил меня ледяным взглядом (я спросила себя, помнишь ли ты нашу встречу на Фонтанке) и высокомерно сказал:

– Я не поклонник такого стиля письма, как ваш.

Я молчала. Да и что можно было ответить? Я-то считала, что написала нечто и вправду классное. И вообще, не я сюда напросилась, вы меня позвали.

– Вы пишете очень по-женски, истерично и эмоционально. Очень сопливо. Много штампов. И к тому же это надо будет в два раза сократить, – произнося всё это, ты почти на меня не смотрел. Ты потом говорил мне: “Ты была такая царственная и красивая, что я совсем растерялся, нахамил тебе и даже взглянуть на тебя боялся”.

Я продолжала молчать. В этот момент на кафедру вошел Яков Борисович.

– А, так это вы – та самая Карина? Прекрасная работа, прекрасная. Очень украсит наш сборник – написано так страстно и с такой личной интонацией.

Помню, что я испытала благодарность ему и обиду на тебя, который в этот момент равнодушно смотрел в окно.

Текст я действительно сократила вдвое. Но не убрала из концовки своего отца с его репликами из репертуара тогдашних “папиков” (“папиным” в то время называли не только кино). Тебе этот финал казался глупым, а мне – принципиальным, потому что мне хотелось сохранить эту личную интонацию. Обида долго не проходила, я не могла забыть, как ты со мной обошелся. С тех пор мне казалось, что ты продолжаешь меня презирать, и, когда я где-то встречала тебя, я как будто слышала твой голос: “Я не поклонник такого стиля...” И бурчала себе под нос: “Ну а я не поклонник вашего интеллектуального занудства”.

Но цену этому занудству я уже начала понимать.

6

31 марта 2013

Привет! Я начинаю письмо и теряюсь – как мне к тебе обращаться? Я никогда не называла тебя Сережей или Сережкой. И уж точно никогда не говорила – Сергей. Когда ты читал у нас лекции, я могла обратиться к тебе “Сергей Николаевич”. Впрочем, едва ли; скорее всего, я избегала имени, потому что уже понимала, что между нами существует пространство, где отчество не предполагается. Я никогда не обращалась к тебе по фамилии, хотя другие твои девушки – до меня – это делали. Твоя первая жена Катя называла тебя “Добским” – меня всегда передергивало от этого собачьего имени. А может быть, просто от ревности.

До меня только недавно дошло, что никого из своих любимых мужчин я не могла называть по имени, словно боясь коснуться чего-то очень сокровенного. И меня никто из них не называл в глаза Кариной, всегда придумывались какие-то нежные или забавные прозвища. Но когда все-таки называли, то это задевало меня как что-то почти стыдное. А может, мне просто были необходимы имена, которые были бы только нашими, – никем не истрепанные.

Когда мы начали жить вместе, то довольно скоро стали называть друг друга Иванами. Почему Иванами?

Ужасно жаль, я совсем не помню. Не помню, как и когда это имя пробралось в наш словарь. Зато помню все его модификации – Иванчик, Ванька, Ванёк, Ванюшка, Иванидзе. Всегда в мужском роде. И помню, как мы однажды стали смеяться, когда я впервые назвала тебя Иваном в постели. Ты ведь не любил говорить в постели? И еще помню, как твоя мама, Елена Яковлевна, ревела в телефонную трубку:

– Ты ведь сына Иваном назвала, да? В честь Сережки?

Это было в тот день, когда я узнала о твоей смерти.

7

2 апреля 2013

Когда я влюбилась в тебя? Сейчас мне кажется, что я влюбилась с первого взгляда. И что каждая следующая встреча была особенной. На самом деле в то время я была влюблена в другого, чью систему ценностей безоговорочно принимала. Я тебя остро чувствовала, это безусловно. Но прошло еще несколько лет, прежде чем я осознала, что это любовь.

Случилось это, когда ты читал у нас лекции по истории кино, подменяя Якова Борисовича Иоскевича. Я училась на последнем курсе, значит, мне было года двадцать два. А тебе, соответственно, – тридцать, вполне серьезный возраст. Лекции Иоскевича нам нравились, но казались уж слишком заумными. Когда вместо него пришел ты и сказал, что Яков Борисович заболел и что ты проведешь несколько занятий, мы обрадовались.

Ты нас ошеломил – как ошеломлял всех своих студентов. Нервной красотой, завораживающей пластикой рук, необычным сочетанием развинченности и собранности, энергией, эрудицией. Нам казалось, что ты перебрал по крошечным кубикам всю историю кино и выстроил ее заново по собственным законам. Первая твоя лекция длилась часа три, но никто не устал и не отвлекся. “Прежде чем научить, надо влюбить в себя. Иначе не получается. То есть получается, но как бы не до конца, вполовину, за вычетом любви”. Мы влюбились. В аудитории сидели одни девушки. Ты с нами не заигрывал, не шутил, не демонстрировал свое блистательное чувство юмора. Мне снова мерещилась надменность, которая меня в тебе пугала. Но как только ты вошел в аудиторию, мне показалось, что между нами есть какая-то особая тайная связь. А как же, ведь была история с моим текстом про молодежную культуру. И я ходила на премьеру твоего спектакля и видела тебя с раскрашенным лицом в роли живого трупа. И у нас столько общих знакомых. И все-таки ты оглянулся тогда на Фонтанке и увидел, что я тоже оглянулась.

Ты вспоминал, как я, будучи старостой курса, положила перед тобой на стол журнал и показала пальцем с обкусанным ногтем, где надо расписаться. Я это тоже помню. Ноготь был страшный – я не приучена была делать маникюр и очень стеснялась своих неухоженных рук.

– Но я была красивая? Я тебе нравилась? – спрашивала я.

– Ты дико кокетничала. Накручивала волосы на палец и строила глазки. Я старался на тебя не смотреть, потому что не мог сосредоточиться.

А я смотрела на тебя не отрываясь.

8

3 апреля 2013

Иванчик! Сегодня вспоминала, как Трофим, Миша Трофименков, рассказывал, что это он меня тебе подарил.

Так и было – задолго до того, как начался наш с тобой роман.

Однажды Трофим сказал, что ты мной всегда восхищаешься, поэтому можно выкинуть милую глупую шутку – перевязать меня ленточкой и привести к тебе на день рождения. Как подарок. Я открыла рот. Добротворский? Восхищается? Мной? Шутишь? Да он меня всегда презирал! Но сказано – сделано. Трофим привез меня в квартиру на Наличной. У тебя горели глаза, от тебя било током (не знаю, был ли ты пьян или что-то другое). Ты устроил из трофимовского подарка целый спектакль, весь вечер хватал меня за руку и подводил к кучкам знакомых и незнакомых людей:

– Это Карина, мне ее подарили. Она теперь моя. Правда, красивая?

Помню, что там была твоя жена Катя, которая громко смеялась и подыгрывала тебе. Не думаю, что ей на самом деле было смешно.

Потом еще год или два, где бы мы с тобой ни встречались, ты в шутку говорил:

– Это моя девчонка! Мне ее подарили.

9

4 апреля 2013

Как мы в первый раз поцеловались? Мы были совсем пьяные. В начале нашего романа мы всё время были пьяные, иначе нам не удалось бы разрушить столько барьеров сразу и так отчаянно кинуться друг к другу. Алкоголь был нашим эликсиром храбрости, который мы жадно лакали, как Трусливый Лев из “Волшебника Изумрудного города”. Не помню, где и как мы в тот день начали пить. Не помню, что именно мы пили – наверняка какую-то гадость, а что еще все мы тогда пили? Кажется, уже наступили времена спирта “Рояль” в огромных бутылках, из которого что только не делали – от клюквенной настойки до яичного ликера. Чуть позже в каждом киоске можно было купить ликер “Амаретто”. Не уверена, что существовала хотя бы еще одна страна, в которой этот приторный липкий напиток пили литрами и закусывали соленым огурцом.

В тот день мы оказались одни в квартире твоего приятеля. Что пили, обычно не запоминаю. А вот как я была одета – не забываю никогда. На мне была длинная косоногой черная юбка из жесткого жатого хлопка, широченный черный пояс стягивал несуществующую талию, белая хлопковая блузка в мелкий черный горошек – всю эту красоту я привезла из Польши, куда ездила по студенческому обмену. Заграничная роскошь, пусть и социалистического происхождения. Одна из твоих лучших статей называлась “Заграница, которую мы потеряли” и была посвящена образу Запада, созданному советским кино, “секретной республике, населенной прибалтийскими актерами и польскими актрисами”. В ней ты оплакал Лондон, снятый во Львове, и Вильнюс, загримированный под Берлин, пачки “Мальборо”, набитые “Космосом”, американских конгрессменов в чешских галстуках, влюбчивых парижанок в пальто из кожаного материала и баночное пиво, которое редко открывали в кадре, потому что всей группой открывали еще до съемки...

Туфли на мне были тоже заграничные, югославские. Мои единственные нарядные туфли (мама называла их “модельными”) – из черной блестящей кожи, узкие, с вырезанным носочком, без каблука (румынские туфли на каблуках лежали у мамы в коробке под кроватью, я тайно надела их один раз, покоцала каблуки и была жестоко отругана). Эти югославские туфли были мне малы на два размера – я купила их у маминой подруги, вернувшейся из загранпоездки. Туфель моего сорокового размера тогда и вовсе не существовало, но невозможно же было из-за такой ерунды, как размер, отказаться от подобной красоты! Я вечно чувствовала себя сестрой Золушки, прихрамывающей в чужом башмачке. Как и многие советские девушки, я изуродовала ступни неправильной тесной обувью. Может быть, поэтому я сейчас скупаю туфли всех цветов и форм, выстраиваю их стройными рядами и счастлива от одного сознания, что они у меня есть. Сорокового, сорокового с половиной и даже сорок первого размера!

Мы стояли на кухне, я опиралась на подоконник. Ты был ниже меня ростом и смотрел на меня восторженно и в то же время отстраненно. Дотронулся до моих длинных волос – как будто проверял, из чего они сделаны. Положил руки мне на грудь – так осторожно, словно грудь была хрустальная. Стал очень медленно расстегивать блузку. Под ней был белый кружевной открытый бюстгальтер, который тогда называли “Анжеликой” – такая специальная модель, высоко поднимавшая грудь, купленная где-то по случаю за бешеные деньги – 25 рублей. В нем моя и без того не маленькая грудь казалась какой-то совсем порнографической – и одновременно почти произведением искусства. Я опустила глаза и посмотрела на нее как будто твоим взглядом. И, кажется, впервые ощутила, что грудь у меня и в самом деле красивая. У меня

коленки дрожали и внизу живота всё сжималось до острой боли – я не помню более эротического момента в моей жизни. Ты аккуратно и сосредоточенно накрыл ладонями обе груди и произнес, почти как заклинание:

– Это всё слишком для меня, слишком.

Едва прикасаясь губами, ты поцеловал меня в каждую грудь несколько раз – тебе почти не пришлось наклоняться. Я стояла неподвижно. Не помню даже, подняла ли я руки, чтобы тебя обнять. По-моему, нет. Спросила:

– Что – слишком?

– Ты – слишком. Слишком красивая. Эта грудь. Эта кожа. Эти глаза. Эти волосы. Неужели это всё для меня?

И еще ты спросил:

– У тебя ведь есть кто-то, кому это принадлежит, да?

Секса у нас с тобой в тот день не было, да и не могло быть, потому что – ты был прав – я по-прежнему принадлежала бородатому философу, которого все называли Марковичем. Он, кстати, приехал в тот день и по-хозяйски увел меня, всё еще дрожащую изнутри от твоих касаний. Эти бережные прикосновения ко мне, как к драгоценному объекту, как к кукле наследника Тутти, я никогда не забуду. Больше никто меня так не трогал.

И даже ты больше никогда так не трогал.

10

5 апреля 2013

Иванчик, я, кажется, влюбилась. Чувствую себя как будто пьяной – из-за совсем юного парня. Написала “юный” и улыбнулась. Ничего себе юный – тридцать три года, больше, чем было тебе на момент нашего романа. Он на тринадцать лет младше меня, поэтому я и воспринимаю его как мальчика.

Ты сейчас сказал бы:

– Иванчик, ну ты совсем пошел вразнос!

Я знаю, знаю. Знаю я, что бы ты сказал. Что все скажут. Гормональное. Материнское. Что там еще... Ну да, конечно. Так и вижу, как выстроились в ряд увядающие истерички с проблемами в нижнем отсеке, как выразилась бы Рената Литвинова. Со сниженными эстрогенами и со своими игрушечными мальчиками. Но мой мальчик бы тебе понравился. Ты любил тех, в ком чувствовал чистоту, уязвимость, застенчивость, робость. Ты любил красивых людей, а он красивый. Хотя, может быть, я просто смотрю на него сквозь любовные линзы.

“Они дали фильму нечто большее, чем жизнь. Они дали ему стиль”, – так ты писал про ослепительно красивых героев “Человека-амфибии”.

За стиль ты многое готов был простить. И я тоже. Все-таки я у тебя училась.

Мой юноша чем-то напоминает мне тебя, хотя ты был маленьким, легким и грациозным – в Америке тебя иногда принимали за Барышникова. А он – высоченный, под два метра, слегка неловкий, неповоротливый, с сорок пятым размером ноги. Но в его тонко вырезанных чертах и размыто-светлых глазах есть что-то твое. Какая-то тоска, легкая безуминка. Во взгляде нет твоей грустной мудрости, но есть отчаяние, как у Дворжецкого в роли Хлудова. И его тоже зовут Сережа. (Ну прямо Анна Каренина в бреду: “...какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли?”)

Снова Сережа. Никогда не любила это имя.

Сережа – программист, совсем не интеллектуал. Слегка аутичный, как многие компьютерщики. Как я могла влюбиться в человека, который спрашивает: “А кто такой Джойс?” или “Что написал Флобер?” Не слышал про “Доктора Калигари”, не отличает Фассбиндера от Фассбендера. Без иронии произносит слово “творчество”, желает на ночь счастливых снов и пишет романтические эсэмэски про снежинки, пляшущие в лунном свете. Он тоже страстно любит кино. Но часто смотрит какие-то комедийные американские и британские сериалы, которые меня ничуть не увлекают.

Мне всегда казалось, что самое сексуальное в мужчине – ум. А тут... Нет, не то, что можно было бы подумать. Я влюбилась во что-то другое, хотя его системные мозги устроены занятно, совсем не так, как у меня (у нас с тобой). Мне трудно произносить слово “душа” без кавычек, но тут что-то явно без кавычек.

Ты наверняка спросил бы:

– Господи, где ты такого отыскала-то?

Почти служебный роман. Он родился в Москве, но вырос и жил в Южной Африке, у черта на куличках, потом вернулся в Россию, работал у нас в издательском доме. Я его замечала краем глаза, но не краем сердца – симпатичный, высокий, с чуть раскосыми глазами и всегда застенчивой улыбкой. А зимой, когда я уже готовилась к отъезду в Париж, Сережа пришел ко мне домой, чтобы сказать, что он возвращается в свою Африку – ну не получается существовать в Москве. Солнца не хватает, счастья не хватает, ничего не хватает. Держал в

руках пакет с прустовскими мадленками из ближайшей пекарни (он, скорей всего, не знал, что они называются мадленки, и тем более не знал, при чем тут Пруст). Я уже не жила с Лешей и находилась в состоянии транзита – впереди новая работа, новая страна, новая свобода. Так почему бы нет? Я вот-вот уеду, он вот-вот уедет, мы больше никогда не увидимся, что я теряю? Он такой красивый.

Я слышу твой голос:

– Ладно, колись, самое страшное уже было?

О, эти наши словечки! Самое страшное – это секс. “Самое страшное было?” Так девчонки-старшеклассницы шепотом спрашивали друг дружку. А самое главное – это любовь. В школе самое страшное считалось возможным только после того, как Он сказал самое главное.

Самое страшное было, да. Мы оба очень много выпили, иначе бы, наверное, не решились. Слишком много преград – возрастных, интеллектуальных, эмоциональных, социальных. Мы сидели в моей московской гостиной и говорили уже часа четыре. Наконец он взял меня за руку – с каким-то трагическим выдохом, почти обреченно. Я притянула его голову к себе и поцеловала в губы. Он сказал:

– Я это хотел сделать с того момента, как впервые увидел тебя много лет назад на площадке у лифта.

Он весь дрожал – больше от страха, чем от желания.

Знаю, что я сентиментальная дура, но меня это тронуло. Я ответила:

– Ты такой красивый.

А он – вместо того чтобы вернуть мне комплимент:

– И что мне с этой красоты?

И через минуту:

– Отведи меня к себе.

Ты сейчас закричал бы:

– Осторожно – пошлость!

Да. Но именно так я чувствую приближение новой любви. Исчезает ирония, пафос больше не страшит и самые глупые слова кажутся глубокими и осмысленными. Меняется оптика. Всё проходит через преображающие волшебные фильтры. В твоём мире мне было легко – всё, что ты говорил и делал, было талантливо и заряжено интеллектуальной энергией. Твой талант не требовал ни доказательств, ни понимания, он ощущался кожей. Но его мир! Его мир надо принять на веру. Принять безусловно, закрыв глаза на все несообразности, странности, вульгарности. Может, это и есть настоящая любовь? О которой ты жестко сказал мне однажды:

– Мне не нужна твоя правда, мне нужна твоя вера! После того как случилось самое страшное, я сказала Сереже:

– Обещай, что ты не будешь в меня влюбляться, ладно? Ничего хорошего для тебя из этого не выйдет.

– А что, если ты влюбишься в меня? – спросил он в ответ.

Я подумала: “Господи, какой глупый мальчик! Я – в него! Просто смешно”. Но уже догадывалась, что не так уж это и смешно.

Почему мне кажется, что ты бы меня понял? Когда я с ним, я всё время думаю о тебе. Но без боли и без муки, с какой-то новой радостью, как будто я стала к тебе ближе.

И я ему рассказала о тебе – в первую же ночь.

11

10 апреля 2013

Почему мы с тобой никогда не вспоминали нашу первую ночь? Наш первый секс? Наше пьяное безумие, отчаянную ролевую игру?

Дело было летом. С датами у меня плохо, но, наверное, это был девяностый год? Вокруг нас бушевала историческая буря, но почти всё стерлось из памяти. Телевизор я смотрела мало, газет не читала, радио не слушала, интернета ни у кого не было. Я жила в мире влюбленностей, доморощенной и книжной философии, разговоров с подругами о самом страшном и самом главном, книг и толстых журналов, учебы, фильмов, театра. За нашими спинами трещала по швам большая советская история, но я, увлеченная тем, как менялась моя маленькая жизнь, этим не интересовалась. Всё происходящее в стране воспринималось как яркий, но далекий фон. Хотя, возможно, безумие, которое творилось с тобой и со мной, было отголоском этой прорвавшей плотину свободы.

В тот день мы оказались вместе – в компании с двумя британскими очкастыми историками кино, которых мы таскали по Питеру. С нами был юный московский журналист, чье имя выскользнуло из памяти, была твоя жена Катя и Костя Мурзенко, неотступно следовавший за тобой длинной носатой тенью. Где мы пили, куда и как перемещались – не помню. Помню, что мы решили разыграть московского юношу, притворившись, что не Катя, а я – твоя жена. Катя, кажется, выдавала себя за иностранку, у нее всегда был отличный английский. Уже совершенно пьяные, мы оказались в чьей-то большой квартире на Пионерской, где я стала танцевать неистовый эротический танец в духе Жозефины Бейкер, о которой тогда и слухом не слыхала. Москвич хватал меня за руки и всё повторял, что я не должна так танцевать, что тебе, моему мужу, это больно и что нельзя заставлять тебя страдать. Сам он, одуревший от этой дикой пляски и от количества выпитого, уверял, что я самая порочная и самая сексуальная женщина на свете. Удивительным образом я, вся слепленная из комплексов, такой себя и чувствовала – и ничего не боялась. В какой-то момент ты утащил меня в спальню – помню, что кровать была отгорожена шкафом, но не помню, куда делась Катя, – и начал целовать и раздевать, совсем не так бережно, как в первый раз. Ты повторял:

– Ты ведь моя жена?

И я отвечала:

– Да, да, совсем твоя.

Ты не любил болтать в постели, но в ту ночь говорил много – и что-то застряло в моей памяти болезненными занозами. Тогда я узнала, что тебя заводят черные чулки и вообще красивое сексуальное белье. Как важны для тебя женские ноги и коленки – ты много сказал про мои ноги и мои узкие коленки, а я ведь совсем не считала их красивыми, совсем. Как для тебя важно, чтобы женщина в постели была не просто возлюбленной, но и эротическим объектом, персонажем твоих ярких и почти болезненных фантазий. Блядские чулки помогали отстранить женщину, превратить ее в фетиш. Нежность и глубина чувств тебе мешали, нужна была доля анонимности. Любопытно, что в нашу первую ночь мой новый Сережа воспринял чулки как странную помеху. Одежда ему мешает, ему необходимы соприкосновение тел, обнаженность, взгляд глаза в глаза. После первого раза чулки я с ним больше не надевала, приняв условия игры. Вернее, поняв, что игра тут неуместна. Однажды я спросила Сережу о его подростковых эротических фантазиях, и неожиданно он сказал, что мечтал заняться любовью на свежеспа-

ханной земле. На свежевспаханной земле! Он и вправду – с другого конца света. Антипод. Ну а нас с тобой возбуждали чулки, зеркала и шпильки. Какая уж там земля.

Ты был гибким, у тебя было тонкое, пропорциональное и сильное тело без капли лишнего жира. В сексе был резок, молчалив и неумолим. Но редко бывал нежен, редко бережен, не делал серьезных попыток понять мое сложное психофизическое устройство. Если, увлеченный яростной игрой, ты говорил в постели, то это был скорее *dirty talk*.

В ту ночь мы рвали мою одежду, мое белье, колготки – в этом не было наслаждения, а было какое-то почти трагическое отчаяние, попытка куда-то прорваться, до чего-то достучаться. Попытка бесплодная – я бездарно изображала оргазм, боясь задеть твои чувства или показаться неполноценной. Я не понимала тогда, что оргазм – это протяженные во времени судороги, мне казалось, что это мгновенное падение в пропасть. До двадцати пяти лет я ни разу его не испытала – тело и голова не умели существовать в унисон. Но ты, по-моему, ни о чем не догадывался.

Я не помню, как наступило утро, не помню, как мы в тот день расстались. Не помню, когда и где увиделись в следующий раз, кто кому позвонил. Я не любила вспоминать этот день, проведенный в чужой преждевременной роли – твоей жены. Мальчик-журналист, который уговаривал меня не рвать тебе сердце своими разнузданными плясками, примерно через год снова мимолетно появился в нашей жизни – в той жизни, где я была уже твоей настоящей женой. Он так и не понял, что мы прошли через роман, развод, брак. Для него мы по-прежнему были слегка сумасшедшей питерской парой.

Странной семьей Доброворских.

12

13 апреля 2013

Иванчик, мне всегда так нравилась твоя фамилия. Свою – короткую и уродливую – я ненавидела. С детства стеснялась ее, с ужасом ждала вопроса: “Ваша фамилия?” Научилась произносить в одно слово: “Закс-не-через-г-а-через-к”. Неловко шутила: “Закс. Не Загс, а Закс. Запись актов какого состояния?”

Я обожала фамилии, заканчивающиеся на “-ая”. Однажды в Крыму, познакомившись с какими-то юношами, назвалась Мариной Заславской. От одного из них мне долго приходили письма, и отец спрашивал меня, почему на конверте другая фамилия. Он, конечно, всё прекрасно понял – и ему наверняка было неприятно. Мне тоже было неприятно и стыдно, но еще более стыдно было быть Мариной Закс. Для отца, которому его еврейство переломало судьбу, в этом был элемент предательства, трусости, вранья, отказа от корней. Но мой стыд никак не был связан с антисемитизмом, которого я почти не ощущала. Фамилия встраивалась в ряд моих недостатков. И фигура у меня мальчишеская (старшая сестра называла меня бревном), и ноги слишком худые (“ножки-палочки”, – смеялся мой школьный приятель), и сутулюсь (я рано вытянулась и пыталась казаться не выше одноклассников), и руки изуродованы кислотой (мама-химик не слишком удачно прижгла мне бородавки), и в переднем зубе заметна пломба (ее небрежно поставили в пионерском лагере), и на джинсах сзадишит клин (стали малы, а купить новые было нереально). И в довершение всего эта ужасная фамилия – Закс. К нам в школу однажды приезжали бывшие узники нацистского концлагеря Заксенхаузен. Вот и я себя ощущала узником этого Заксенхаузена, моей гадкой фамилии.

Я жадно стала Добротворской, с радостью отбросив свою девичью фамилию. Через несколько лет, выйдя замуж за Лешу Тарханова, я осталась Добротворской. Я по-прежнему любила свою (твою) фамилию и воспринимала ее как дар.

Забавно, что сейчас, живя в Париже, я тоскую по своей короткой и ясной для западного уха девичьей фамилии. Французы – как и любые западные люди – не в состоянии выговорить твою. Др-бр-вр-тр... Я уже привыкла останавливать их дежурной репликой: “*Don't even try*”. Куда легче было бы зваться здесь *Karina Zaks*.

Но я – *Dobrotvorskaya*.

Это связывает меня с тобой.

13

15 апреля 2013

Как я оказалась в Париже?

Москву я так и не полюбила. Прожила там шестнадцать лет, редко выбираясь за пределы Садового кольца, не пустила корней, не обросла близкими людьми, не отыскала любимых мест, не наполнила ее своими воспоминаниями. Жила в ноющей тоске по Питеру, но приезжать туда было больно. Нашу с тобой квартиру я отписала твоим родителям, а квартиру своих продала после смерти мамы. Так что и приезжать было некуда – одни могилы. Недавно я купила в Питере славную квартиру на Большой Конюшенной – маленькую, но с высоченными потолками. Поняла, что готова снова приезжать в Питер, но не хочу быть здесь туристом и останавливаться в “Астории”. Покупая эту квартиру, я думала, что, может быть, рано или поздно сюда вернусь. Насовсем. Но через месяц или два, после того как я закончила на Конюшенной ремонт, мой босс предложил мне перебраться в Лондон и курировать оттуда редакционную политику нашего издательского дома в Европе и Азии. Я не задумываясь сказала: “Да”. Только спросила: “А можно не в Лондон, а в Париж?”

Леша Тарханов уже год жил и работал в Париже – корреспондентом “Коммерсанта”. Его парижскую историю задумала и оркестровала я. Он смертельно устал от двадцатилетней газетной работы с ежедневными дедлайнами, равно как и от роли идеального еврейского папы, которую блестяще исполнял. Он всегда мечтал жить в Париже. Мечтал просто писать – не отвечая при этом за огромные газетные полосы и за целый отдел. Оказалось, что это совсем не сложно, стоит только захотеть. Мы просто боимся своих желаний, как боялся их ты.

Леша переехал в Париж. Брак наш к тому времени был уже почти формальным, держался на привычке, на общих рабочих интересах и на обязанностях вокруг детей. Я то и дело раздражалась на него, придиралась к мелочам, скучала, закрывалась в своей комнате, ставила на живот компьютер – и смотрела кино. Наш сын Ваня с четырнадцати лет жил и учился в Лозанне, дочка Соня ходила во французский лицей на Чистых прудах. Жизнь как-то крутилась вокруг французского языка, так что выбор Парижа казался естественным, а наше с Лешей расставание не было ни болезненным, ни трудным. К тому же официального разрыва не произошло – мы оставались друзьями, близкими людьми, коллегами-журналистами и родителями-партнерами. Ну да, живем в разных странах. Но вроде всё равно семья. И когда я осторожно спросила своего начальника “А можно в Париж?”, он решил, что это вопрос воссоединения семьи. Но в действительности это был вопрос про любовь – на сей раз про любовь к Парижу. Ведь я знала, что к Леше не вернусь – ни в Париже, ни в Москве. С его отъездом я испытала облегчение, эйфорическую свободу, счастье одиночества и радость независимости. Но одиночество продлилось недолго – появился мой новый Сережа.

И возвращение к мужу стало уж совсем невозможным. Иванчик, после всего, что случилось между тобой и мной восемнадцать лет назад, я не могу врать или что-то скрывать, слишком хорошо помню, как это было и к чему привело.

Теперь я хожу по Парижу с “Богемой” Азнавура в наушниках, не понимая, в кого влюблена – в Париж, в Сережу или по-прежнему в тебя. Леша живет в другом районе – около Люксембургского сада, в трехэтажной крошечной квартирке, выходящей в собственный садик. Мучительно переживает наш разрыв и мой роман – но это отдельная история, здесь ей не место.

Голова у меня всё время кружится – то ли от парижского воздуха, то ли от бессонницы. Каждый раз, выходя из своего дома на Марсовом поле (я живу на Марсовом поле!), я вижу

Эйфелеву башню и хочу себя ущипнуть, чтобы поверить в то, что это правда. Я так хочу поделиться с тобой моим Парижем, моей квартирой, моей башней, которую зажигают по вечерам, как новогоднюю елку. Вот Понт-Неф – помню, как мы вместе смотрели “Любовников Нового моста”. А на этом бульваре дю Тампль снимали “Детей райка”. А вот под этим мостом Бир-Хакейм – в двух шагах от моего дома – неистово орали Брандо и Мария Шнайдер в “Последнем танго в Париже”. А вот тут, на Елисейских полях, Джин Сиберг продавала *New York Herald Tribune*. Мы с Сережей недавно ходили на ее могилу на кладбище Монпарнас (там и твой любимый Генсбур). Могила была усыпана окурками и билетиками на метро. И еще там лежала мокрая от дождя газета. (Я до сих пор повсюду покупаю тельняшки – такие же, как носила героиня Сиберг.) Наверное, ты всё это пережил, когда был здесь. Но ты был без меня, я – без тебя. Нашего с тобой Парижа не случилось. У меня здесь впервые за много лет возникло ощущение, что вдруг получится начать жизнь сначала, жить настоящим, перестать хвататься за прошлое. Ведь моя новая влюбленность совпала с переездом в Париж.

Я опять слышу твой голос:

– Подожди, Иванчик, ты же сказала, что парень возвращается в свою Африку.

Ну да, сказала. Он пытался уехать, но скоро рванул ко мне в Париж – сначала один раз, потом другой, третий. Расстаться оказалось не так просто.

Он ведь тоже Сережа.

14

17 апреля 2013

Как же мне тебя не хватает! Сегодня я показывала Сереже “Пепел и алмаз”. Твой “Пепел и алмаз”. Горячо рассказывала про Цибульского – восточноевропейского Джеймса Дина, “с его пластикой танцора рок-н-ролла и близорукими глазами интеллектуала за темными очками гангстера”. Что-то объясняла, про тебя и про всех бунтовщиков без причины сразу. Мой мальчик минут двадцать смотрел “Пепел...” серьезно и внимательно, потом стал целовать меня в шею, потом и вовсе развернул от экрана и начал возиться с пуговицами на шелковой блузке. Потом сказал:

– Это, наверное, хороший фильм, он совершенно нам не мешал.

И – в ответ на мою молчаливую обиду:

– Про Цибульского и рок-н-ролл я всё понял, но ведь смотреть это сейчас невозможно, да?

И я за “Пепел и алмаз” никак не вступилась. Теперь у меня какое-то дурацкое чувство, что я тебя предала.

Я так и не поняла, с кем занималась любовью под звуки польской речи и стрекот автомата.

15

20 апреля 2013

В каком бешеном угаре разворачивался наш роман! Без этого угара нам, наверное, было бы не вырваться из предыдущих отношений – у обоих они были запутанными. С Катей вы жили в разных квартирах и церемонно обращались друг к другу на “вы” – мне это всегда казалось фальшивым. Почему вы жили отдельно – я не знала и знать не хотела. Вероятно, так было “круче”, вы гордились своей свободой и своими необычными отношениями. Но часто оставались друг у друга ночевать. А у Марковича была усталого вида религиозная жена с тремя детьми – странным образом я никогда не хотела, чтобы он ушел из семьи, несмотря на нашу пятилетнюю связь и мою глубокую одержимость им и его идеями (точнее, идеями Розанова – Шестова – Леонтьева). Он снимал комнату в огромной коммуналке на улице Герцена, куда я поднималась по заплыванной лестнице со всё нарастающей тоской.

Сейчас с новым Сережей мне хочется побыстрее закончить разговоры и начать обниматься. А с Марковичем хотелось побыстрее закончить с объятиями и начать говорить.

Маркович был чудовищно ревнив, чувствовал, что я ускользаю – не физически, внутренне. Я перестала безоговорочно верить во всё, что он говорит. Более того – мне стало с ним скучно, а скука – верный признак смерти любви. Я только что прочла у тебя слова одного шведского критика о том, что в бергмановском “Лете с Моникой” никто не умирает, кроме любви. Наша любовь с ним умирала, он это знал, бесился и неистовствовал. То есть бесился и неистовствовал он все пять лет, я всегда боялась и за него, и за себя. Боялась, что он что-то сделает с собой (он угрожал многократно) или со мной (был куплен и продемонстрирован настоящий пистолет). Но стоило мне влюбиться в тебя, как страх рассеялся. Раньше мне казалось, что я в клетке, что вырваться мне не удастся. За те годы, что мы были вместе, Маркович душил меня, таскал за волосы, в буквальном смысле бился головой о стену, царапал в кровь лицо. И вдруг оказалось, что это всё химера, фикция. Клетка не заперта, угрозы эфемерны. Надо просто открыть дверь и выйти. Никто не покончит с собой, никто не сможет меня задержать. Я знаю, куда и к кому я иду.

Ты меня к Марковичу всегда сильно ревновал. Ревность к прошлому – едва ли не самая острая, теперь я это знаю. Ревнуешь не к мимолетному сегодняшнему вниманию и даже не к постели. Ревнуешь к тем чувствам, которые когда-то были отданы другому.

– Не смей сравнивать меня с ним! – говорил ты. Разве я сравнивала? Не помню. Я его уже совсем не любила, но не смогла (или не захотела) тебе это объяснить. Когда ты увидел меня с ним на фотографиях, ты весь передернулся:

– У тебя с ним тут такое счастливое лицо.

Недавно Сережа увидел наши с тобой фотографии:

– У тебя с ним тут такие счастливые глаза.

Ну вот. А Леша говорит, что у меня счастливая улыбка, если рядом Сережа.

В тот единственный раз, когда вы встретились с Марковичем, вы друг другу понравились. Ты сказал, едва ворочая пьяным языком:

– Он настоящий мужик, да?

А Маркович – про тебя:

– Он – живой.

В его устах это был главный комплимент.

Наше с тобой любовное безумие продолжалось всё лето. Однажды мы пришли вместе на день рождения одной студентки-театроведки, поразив ее воображение нашим странным союзом. Я с восторгом читала тогда “Манифест сюрреализма” Бретона, мы с тобой немедленно решили трактовать его в духе бытового беспредела, и на этом дне рождения я бессовестно объела с магазинного торта весь арахис, размокший в масляном креме. Пощечина буржуазному вкусу, авангардистская выходка! Именинница растерянно смотрела на лысый торт, ты испуганно смотрел на меня и быстро начал петь с какой-то блондинкой, которая играла на пианино и бесстыдно с тобой кокетничала. Я немедленно отстранилась. Как это у меня получалось быть такой спокойной и не ревновать тебя? Сейчас бы, конечно, не смогла. Вскоре я равнодушно и незаметно уехала домой.

На следующее утро ты позвонил в дверь моей квартиры на улице Замшина и бросился в мои объятия с комическим стоном:

– Недоё-ё-ё...!

Я расхохоталась и обняла тебя. Ты начал целовать меня прямо в прихожей. Ты не просил прощения, ничего не объяснял, а я ни о чем не спрашивала и совсем не сердилась.

Это был последний раз, когда мы откуда-то уходили врозь.

16

21 апреля 2013

Привет-привет, мой Иванчик! Начало нашей любви было похоже на хеппенинг – вполне в духе твоих ранних студийных экспериментов (ты поставил эпатажный спектакль “Революция”). Однажды я приехала к тебе в квартиру на Наличной. Ты не ждал меня, писал картины, был перемазан маслом, просиял, как ребенок, увидев меня в дверях. Мы занимались любовью, едко пахло краской. Потом переодели меня в серый костюм твоего отца (брюки были мне коротки), приклеили усы, спрятали волосы под кепку, подложили живот, чтобы замаскировать грудь, и отправились гулять. Зашли в магазин, купили в киоске сигареты (я старалась говорить басом), выпили кофе в кафе у залива, целовались взад-вперед. Окружающие с ужасом на нас оглядывались, а мы хохотали как ненормальные. Тебе нравились гендерные игры, ты подписывал свои ранние статьи именем Ольги Лепестковой и фотографировался в женском образе в светлом кудрявом парике – еще до Владика Мамышева-Монро. Выглядело очень убедительно – привет Боуи! Когда мы вернулись домой, ты, вытаскивая тряпки из-под мешковатого пиджака, шептал мне на ухо:

– У вас ус отклеился.

Тем же летом ты снимал меня на старомодную ручную камеру:

– Это будет архетипическое кино под названием “Девчонка с причала”. Половина фильмов сделана про девчонку с причала, знаешь?

Ты спрягал “с причала” как глагол и хохотал:

– Девчонка спрочала, мальчишка спрочал, мы с тобой спрочали.

Ты заставлял меня идти вдоль залива, бежал передо мной с камерой и кричал, что я со своим печальным лицом и длинной юбкой, развевающейся на ветру, похожа на женщину французского лейтенанта. В те минуты я чувствовала себя совершенно счастливой. Ты как будто занимался со мной любовью – при помощи этой примитивной камеры. Камера не отделяла нас друг от друга, как в вышедшем тогда вуайерском фильме “Секс, ложь и видео” или как у героя Жан-Пьера Лео в “Последнем танго в Париже”. Камера нас сближала, связывала, превращала в одно целое. Делала наш союз не только любовным, но и творческим. Тогда я не отдавала себе в этом отчет. Просто чувствовала, что то, что происходит между нами, острее и, может быть, даже важнее, чем секс.

Ты часто повторял фразу Годара, что кино показывает только любовные истории. За несколько месяцев до смерти на лекции во ВГИКе ты сказал: “«На последнем дыхании» – один из самых концептуальных фильмов XX века, потому что он показывает, что можно всё. В кино можно всё. У Годара есть совершенно замечательная формула: «В кино можно всё, главное – любовь». Если вы любите что-то или кого-то, значит, можно снимать о чем угодно, это всё равно никуда не спрячешь”.

И ты, обычно такой строгий к словам, трижды повторил: “Можно всё, можно всё, можно всё”.

Этот черно-белый фильм, “Девчонку с причала”, ты смонтировал и озвучил. Добавил туда кадры, где я, юная и веселая, что-то ем на твоей кухне, привычно придерживая длинные волосы, чтобы они не попали в тарелку. Где сейчас этот маленький фильм – не представляю. Может, валяется где-то на осыпавшейся видеокассете. “Девчонка с причала” была самым щемящим на свете объяснением в любви. А я с тех пор так и осталась для тебя девчонкой.

– А где моя девчонка? – спрашивал ты, когда искал меня. – Кто-нибудь видел мою девчонку?

Знал ли ты, что первый фильм, в котором на экране появился Джеймс Дин, назывался “Кто-нибудь видел мою девчонку?” (*Has anybody seen my gal*)? Едва ли знал, хотя фильм и снял любимец французской новой волны Дуглас Сёрк, хорошо тебе известный. Но ты каким-то шестым чувством угадывал скрытые сплетения твоих синефантомов. Я только недавно посмотрела эту картину, у Дина там одна реплика, его имени даже в титрах нет, но не запомнить этого капризного и надломленного мальчика невозможно, хотя он там всего лишь просит какое-то особенное мороженое – и я его тоже часто просила! Девчонка из названия, впрочем, не имеет к Дину отношения. Девчонка – из прелестной песни двадцатых годов, под которую там весело отплясывают:

*Could she love, could she woo,
Could she love, could she coo,
Has anybody seen my gal?*

Причал мы постепенно забыли. Говорят, что за несколько секунд до смерти ты произнес:
– Моя девчонка ко мне уже не вернется.

17

22 апреля 2013

Сегодня вспомнила кругленькую кудрявую Карлу Бони, парижского фотографа итальянского происхождения, которая приехала в Питер делать фоторепортаж о параллельном кино. Тогда на каждого иностранца бросались с жадным любопытством, и ты немедленно закружил Карлу в нашем хороводе. Мы таскали ее за собой по разным местам и гостям, чем-то поили и кормили, она снимала нас вместе. На одном из ее снимков мы сидим на Ломоносовском мосту на Фонтанке, у меня в руках кассета с “Синим бархатом” Линча. “Синий бархат” стал одним из фильмов, сопровождающих нашу любовь. Мы оба были заморожены линчевской эстетикой, кислотными цветами, сюрреалистическим темным миром, где обитали харизматические демоны – Деннис Хоппер и Изабелла Росселлини. Мы написали вдвоем несколько статей про Линча, одну из них – “Суд Линча” – для “Сеанса”. Про Линча мы обязательно хотели писать вдвоем, это был наш общий и наш личный опыт. Тогда, кроме “Синего бархата”, вышло сразу несколько фильмов в жанре, который ты называл “яппи в опасности” или “яппи в стране чудес” – “После работы” Скорсезе, “Нечто дикое” Демме, “Тщетные поиски Сьюзен” Зейдельман, “В ночь” Лэндиса, “Френтик” Полански. Всё это были истории про чинных американцев, проваливающихся в зазеркалье и заново открывающих мир, опасность, любовь и самих себя. Ты называл это зазеркалье беспределом. Ты любил жонглировать блатными словечками, но это слово произносил и воспринимал без иронии. Беспредел. Нечто без пределов, без границ, без барьеров. Или – бес пределов.

В наших головах линчевский мир рифмовался с тем, что происходило с нами. Нас завораживала угрожающая атмосфера его фильмов: мы пересмотрели их все – от “Головы-ластика” до “Человека-слона”. “Страх рождается уже не оттого, что трудно постигнуть объективный критерий, но оттого, что такового критерия нет” (это ты – о “Синем бархате”).

Помню, как мы смотрели “Синий бархат” с тобой и с моей однокурсницей – дело было в театральном музее. В сцене, где Деннис Хоппер что-то нюхает и заставляет Изабеллу Росселлини раздвигать ноги, а потом бросается на нее, истерически дергаясь, мы с подружкой стали восклицать:

– Какой мужчина!

Ты поглядывал на нас скептически, а потом не выдержал:

– Да он просто импотент, неужели вам, дурочкам, не понятно!

На фотографии Карлы я одета по-дурацки – тогда я плохо понимала, что мне нужно носить. На мне сиреневый хлопковый комбинезон с широкими штанинами, поверх – черный с сиреневым свитер с треугольным вырезом, связанный моей мамой. То есть я помню, что он был черный с сиреневым, на черно-белом снимке этого, конечно, не видно.

Вечно я надевала что-то безразмерное, уверенная, что надо скрывать отсутствие тонкой талии и округлой попы. Ты одет, как всегда, безупречно – хорошо сидящие джинсы, узкого кроя рубашка. У тебя было идеальное чувство стиля, ты умел одеваться и отлично знал, что тебе идет. Мог раскопать нужную тебе вещь в груде обносков в комиссионке. Или найти на вешалке в магазине ровно ту куртку, которая сидела на тебе как влитая. Сам гладил рубашки, стирал джинсы и чистил зубной пастой белые кроссовки.

Мне нравилось, когда ты носил пиджаки и плащи – это добавляло тебе серьезности и нормальности. Хотя лучше всего ты выглядел именно в джинсах, коротких кожанках, светлых узких рубашках – в том, что подчеркивало невесомость твоей изящной фигуры. Но я

была душой, Иванчик, не понимала, что эта джеймсдиновская аура тебе необходима. Сейчас я выбросила бы твой темно-серый твидовый пиджак, который так любила (плечи были шире, чем нужно, конечно), спрятала бы подальше бежевый плащ (он был хоть и вполне богартовский, но по-бандитски длинный) и позволила бы тебе быть бунтовщиком без причины. Ну что поделаешь – твоя юность казалась мне опасной. Мне хотелось выстроить вокруг тебя – и себя – солидный взрослый мир, не чреватый скверными соблазнами. В то же время мы сами столько наговорили и написали про то, как легко провалиться в зазеркалье, прорвав иллюзорную поверхность буржуазности и респектабельности.

Моего Сережу мне тоже постоянно хочется переодеть. Я, может быть напрасно, считаю, что изменилась и готова принять и уважать чужой выбор и чужой вкус (ведь не чужой же!). Сережа одевался как типичный айтишник – клетчатые рубахи, безразмерные кофты и футболки, бесформенные ботинки и джинсы на размер больше. Я научила его носить белые футболки, белые рубашки, белые кеды и узкие темные пиджаки – униформа, которая всегда оказывается беспроегрешной. Он, надо сказать, сопротивлялся, защищая не столько свое презрение к одежде (его тут нет), сколько свою гордость и свою самостоятельность.

Ты, конечно, сейчас сказал бы:

– Иванчик, оставь парня в покое!

18

23 апреля 2013

Я вчера не дописала про Карлу. А сегодня, заглянув в мини-бар токийского *Park Hyatt* (я здесь *lost in translation*, но Билла Мюррея пока не видно), вспомнила, как она угощала нас орешками из “Березки”. Я дрожала от этих диковинных соленых орешков и шутиливо обещала тебе исполнить за них любое сексуальное желание, чем ты, впрочем, так и не воспользовался, хотя орешки мне исправно доставлял. Мое обещание, однако, с удовольствием вспоминал и махал жестяными банками перед моим носом: “Ну и когда?”

В голодную зиму 1990–1991 годов Карла посылала нам консервы и упоительно вкусные супы из шампиньонов и шпината в пакетиках. Летом девяносто первого года я получила от нее приглашение в Париж. Так что благодаря ей я впервые оказалась во Франции.

Когда я пришла в большой собственный дом Карлы в Бельвиле, двери мне открыла хрупкая блондинка.

– И давно вы тут живете? – спросила я, не имея ни малейшего понятия о том, кто она такая.

– *Toujour*, – ответила Мари-Лор, подруга Карлы, мило улыбнувшись. В 1991 году для меня, зашоренной советской девицы, стало шоком, что Карла – лесбиянка.

В ее доме я встретила еще одну лесбийскую пару – двух коротко стриженных мужеподобных американок, кажется, их звали Арлин и Шарлин. В первый же парижский вечер ты позвонил Карле на домашний номер, и я, захлебываясь, рассказывала тебе, что тут – такое! И всё повторяла:

– Лесбиянки!

Вдруг до меня дошло, что слово “лесбиянки” на всех языках звучит одинаково и что они, эти лесбиянки, меня прекрасно слышат и понимают. А ты строго наказал:

– Береги свою девичью честь, Иванчик.

И добавил довлатовское:

– Надька, взбл...нешь – убью!

Мать Карлы, статная богатая итальянка, водила нас в японский ресторан, где я впервые в жизни попробовала суши. Меня тогда чуть не стошнило, доест их я не смогла. Второй раз мы попробовали суши вместе с тобой и Брашинским в Нью-Йорке – с тем же рвотным эффектом. А сейчас я дрожу от любой сырой рыбы и в промышленных количествах ем всевозможные карпаччо и тартары.

Недавно я наткнулась на статью про Карлу и Мари-Лор в *L'Humanité*. Оказывается, у них три девочки – Жюльетта, Луана и Зелина. Мари-Лор их выносила и родила, Карла удочерила. Они стали чуть ли не первой французской гей-парой, которая это проделала легально. До сих пор живут вместе, в том же двадцатом округе, борются за права геев. Стоит их найти? Наверное, это совсем не трудно. Я, кажется, даже помню, где именно расположен их чудесный дом на тихой зеленой улице. Помню метро с прелестным названием – *Mairie des Lilas*. Вдруг у Карлы (ты называл ее Карлуша) чудом сохранились негативы двадцатилетней давности? Она столько снимала нас вместе – а у меня так мало наших общих фотографий. Знает ли она, что тебя больше нет?

19

27 апреля 2013

Почему нам так понравилась “Черная роза – эмблема печали...”? Мы посмотрели ее летом 1990 года в кинотеатре “Колизей” на Невском. Сейчас этот фильм едва ли не официально считают неудачей. А тогда мы много смеялись и с удовольствием повторяли словечки и фразочки оттуда. Ты восхищался Збруевым и его брутальной репликой “Только не надо мне вертеть вола!”. С тех пор мы вертели этого вола на все лады.

– Не надо мне вертеть вола! – то и дело кричали мы друг другу. Вол жил с нами до моего бегства в Москву. Ты написал трогательную картину “Верчение вола”, я повесила ее у себя в комнате и улыбалась всякий раз, когда на нее смотрела. Забавный человечек вертел на веревке какого-то шагаловского вола. Я в ответ слепила его фигурку из глины, а вместо веревки использовала проволоку. Мне всегда нравилось лепить и у меня получалось; иногда думаю, что могла бы стать скульптором (ты сейчас обязательно вспомнил бы Изабель Аджани в роли одержимой Камиллы Клодель). Эта маленькая скульптурка тебе ужасно нравилась, ты считал ее нашим талисманом. Когда я уходила от тебя, то почему-то взяла ее с собой в Москву. Почти ничего больше не взяла, даже одежду оставила.

Талисман скоро вернулся в Питер, к тебе на могилу. Приехала я одна, с грудью, переполненной молоком, – в Москве остался мой месячный сын Иван. Положила нашего маленького вола за серый могильный камень, присыпала землей, чтобы никто его не увидел. Мне казалось, что я тебя слышу, что ты уговариваешь меня перестать наконец плакать. И что я отвечаю тебе:

– Только не надо мне вертеть вола!

20

29 апреля 2013

Когда мы с тобой начали жить вместе? В сентябре, в октябре? Помню, что была осень. Закончилось жаркое лето, схлынуло безумие. Я ушла от Марковича, ты – от Кати. Удивительно: всё получилось просто и естественно, без драм и скандалов, как будто по-другому и быть не могло. Родителей мы просто поставили перед фактом. Моя подруга Ира Татарова (сейчас она католический теософ и живет в Польше, а тогда была в тебя влюблена, ты это знал?) сдала нам однокомнатную крохотную квартиру в блочной хрущевской пятиэтажке на Черной речке, на последнем этаже без лифта.

Это был переходный период – между безумием и спокойствием. Мы сказали друг другу: “Я люблю тебя”, – и нам больше нечего было бояться. Не надо было оглушать себя алкоголем, чтобы друг до друга дотронуться. Мы одновременно прочитали “Палисандрию” Саши Соколова и вытащили оттуда детское словечко “потягуси”, которым с тех пор называли занятия любовью. Жизнь стала успокаиваться, дышать всё ровнее, больше не требовала допингов. И да – мы перестали пить.

Иванчик, сейчас я сижу в своей огромной парижской квартире с окнами до пола и готова всё на свете отдать, чтобы хоть на один день перенестись с тобой в шестиметровую обшарпанную кухню. Каждая следующая моя квартира была больше и богаче предыдущей. И в каждой – обратно пропорционально – я была всё менее и менее счастлива.

А в той убогой хрущевке мы и вправду были счастливы.

21

3 мая 2013

Иван, привет! Ты терпеть не мог говорить про алкоголь. А теперь я могу говорить сколько угодно – и ты меня больше не остановишь. Это был такой слон в комнате, постоянный страх и постоянная угроза. Я написала, что страхи прошли, но это неправда, конечно. Страх так и не прошел – ни у меня, ни у тебя. И ты в конце концов сорвался.

Чуть меньше года назад я стала ходить к психоаналитику: эти еженедельные визиты длились несколько месяцев – до моего отъезда в Париж. Я знаю, знаю, что ты мог бы про это сказать. Но мне это помогло, правда. Например, с булимией я почти справилась. Впрочем, для тебя это пустые слова: когда мы жили с тобой, булимией у меня не было, она всегда нападает в отсутствие любви. Так вот, мой психоаналитик, с которой я много обсуждала тебя (прости, прости), сказала, что твоя жизнь в завязке не могла закончиться иначе, как срывом. Тот, кто на самом деле бросил пить, может время от времени спокойно выпивать. А вот тот, кто запретил себе даже притрагиваться к рюмке, – тот непременно сорвется, и вариантов тут нет.

Ты знал, что я боялась твоего пьянства, о котором ходили легенды. Алкоголь менял твою личность, ты становился жестоким, резким, почти агрессивным. Как будто в тебя вселялся кто-то другой. Не случайно в твоём мире было выделено специальное место для Джекила и Хайда. Когда ты срывался, жизнь оборачивалась кошмаром. Однажды я сказала тебе, трезвому, что пьяный ты – это вовсе не ты, а какой-то оборотень, Волк, Чужой. Ты ответил:

– Мамочка всегда говорила мне то же самое. И теми же словами.

Иногда я думаю, что приступы такой агрессии могли быть вызваны не алкоголем, а тяжелыми наркотиками, о присутствии которых в твоей жизни я не подозревала. Ни один фильм о наркотиках после твоей смерти я не досмотрела, мне физически становилось дурно. До сих пор не видела *Trainspotting*, не дотянула до финала “Реквиема по мечте”. Недавно решила наконец посмотреть “Марцефаль”, снятый по твоему сценарию, попросила Сергея Кальварского прислать мне фильм. Начала – и опять не осилила. Сюрреалистическая комедия с клиповой эстетикой девяностых и неоновыми цветами показалась мне фильмом ужасов. Меня больно задело, как профессионально и с медицинским знанием дела ты описал приходы и ломки. Наверное, таким же экспертным взглядом ты когда-то оценивал “Иглу”, с которой слезал Цой в фильме Нугманова. Мы сидели в зале рядом, но я ничего не заметила, не почувствовала. Не потому, что была такой наивной. Я не хотела знать.

Только несколько месяцев назад я заставила себя прочесть что-то про марцефаль. Теперь хотя бы знаю, что марцефаль меняет человека, провоцирует грубость и резкость.

В твоей статье про Тарантино возникает “подколотый урка”, муза кино является в мир нюхнуть за компанию с режиссером, который на кокаиновом приходе путает курок с кнопкой ускоренной перемотки. И все эти навороты образов – в коротеньком тексте. Автор явно неплохо изучил предмет. Недавно собралась с духом и спросила Брашинского: “Был ли героин, когда была я?” Он ответил: “С иглы полностью слезть нельзя. Но он тебя не обманывал. Если он и срывался, то раз в год, не чаще. Может быть, раз в два года. И только когда тебя не было в городе. Он очень тебя берег. И себя – для тебя”.

Угрозу я видела только в алкоголе. Первые годы вместе казались мне почти безопасными. Ты не пил, не говорил об этом, и я совсем не чувствовала, что ты скучаешь по своим пьяным эскападам. Однако мифология русского пьянства тебя по-прежнему волновала. Ты нашел для нее отличную формулу – “сберегший традицию совести в сгустке похмельного стыда” (это

про Веничку, которого ты обожал). Я не пускала на порог и люто ненавидела твоих друзей – наркоманов и алкоголиков вроде закадычного приятеля Вилли. Но он в конце концов победил: именно Вилли был с тобой в момент твоей смерти. Ты, кстати, упомянул его в “Марцефале”. Там герой Михаила Ефремова рассказывает, откуда взялось питерское словечко “бошетунмай”, и приписывает его твоему обожаемому Вилли.

Став твоей женой, я тоже почти не пила. Да и зачем? Жизнь с тобой была наполнена внутренней энергией такой силы, что взбадривать себя мне было ни к чему. Мне вообще ничего особенного было не нужно. У меня почти ничего не было – но у меня было всё. Ты любил повторять: “Жизнь – это то, что проживается”. Я кивала, но не понимала, уверенная в том, что просто жить такой полной жизнью и просто любить такой пульсирующей любовью – недостаточно, нужно еще чего-то добиться, еще что-то ухватить.

Мой Сережа до встречи со мной почти не пил. Удивительно, да? Дожил до тридцати трех лет – и ни разу не был в хлам пьяным, не блевал над унитазом, не творил глупостей, не мучился похмельным стыдом.

– Словом, парень не жил, – сказал бы ты.

Он не только не пьет, он и не курит. Не любит даже кофе, а из допингов пробовал только голландские грибы (отдельно расскажу эту историю). Ну то есть что-то он пил – пиво там, просекко, рюмку-другую водки иногда, бокал вина на вечеринках. Но в целом ему это не нужно и не интересно. В первую ночь у меня дома мы выпили, наверное, бутылки три – сначала шампанского, потом белого вина, потом, кажется, еще и розового. Сережа пил вино отчаянно, как будто вино было волшебным зельем, которое позволит ему преодолеть страх и до меня дотронуться. А я пила, чтобы исчезла пропасть между нами и чтобы оказаться там, где можно всё. Можно всё. Можно всё.

Потом мы с ним всё время пили. Для того чтобы оставаться вместе, нужно было ввести себя в состояние транса. Он полюбил шампанское, быстро научился отличать хорошее от плохого, а очень хорошее от просто хорошего. Он вообще оказался отличным учеником, впитывал всё как губка и при этом имел о многом собственное мнение, изменить которое мне иногда хотелось, но редко удавалось. К бордо я его так и не приучила, он предпочитал более легкое и более тонкое бургундское. С тобой мы никакого бордо не пили.

Вино вообще пили мало, да и какое вино тогда было? “Медвежья кровь”? “Южная ночь”? “Алиготе”? “Монастырская изба”? Что-то сладкое и крепленое. Родительская кислятина из дачной черноплодной рябины. Приличное красное вино появилось в магазинах за год до моего отъезда в Москву. Это было болгарское каберне, недорогое и приятное. Именно его мы и пили с Лешей в самом начале нашего романа, пока он уверенно не перевел меня на французское.

Ты сейчас спросил бы про Сережу:

– А тебе есть о чем с ним пить?

Ну да, это же Веничкина фраза: “Мне с тобой не о чем пить”.

Не будем снобами, ладно? Во-первых, я никогда не видела его по-настоящему пьяным. Пьянела я, а он оставался собой. Во-вторых, да, мне есть о чем с ним пить. Я ведь писала тебе, что открываю новый мир – чужой, непонятный, устроенный по другим законам. Вот только не знаю, возможен ли этот роман без хмельного головокружения?

Но я знаю одно – пока Сережин мир мне интересен, я его люблю.

22

Ночь с 3 на 4 мая 2013

Вспоминала сегодня наше первое появление вместе в профессиональной тусовке. Киноведческий семинар в репинском доме творчества кинематографистов. Я и раньше бывала в Репине на зимних каникулах, любила это место, встретила там когда-то много людей, с которыми продолжала общаться: Диму Месхиева, Киру Сурикову, Наташу Токареву. Но сейчас я ехала туда не просто в качестве твоей девушки, но и как аспирантка, молодой критик. Тебе предстояло выступить с анализом “Чапаева”, а мне – “Цирка”. Я обожала “Цирк” Александра, и мы вместе проделали совершенно хулиганский его разбор. Позже по мотивам своего репинского выступления я написала статью в “Искусство кино”.

Моя речь вышла такой дерзкой, что кто-то из пожилых киноведов подавал возмущенные реплики, особенно когда советскую пушку из “Полета в стратосферу” я сравнивала с членом. Ты сидел в зале, страшно нервничал и ерзал, готовый в любой момент броситься мне на помощь. Но уже тогда я умела справляться с любой аудиторией – чтение лекций давалось легко и доставляло мне удовольствие. Я удачно парировала строгие выкрики. К тому же за меня опять вступился Яков Борисович Иоскевич, сказав с места, что это блестящее выступление и тонкий структуралистский анализ фильма. Когда я закончила и спустилась к тебе в зал, ты взял меня за руку и бросал на всех гордые взгляды: “Как вам моя девчонка?”

Именно там я впервые увидела Любу Аркус. Конечно, я о ней много слышала – и от тебя, и от других. Люба только что сделала первый номер “Сеанса”, который все жарко обсуждали. Поразительно: вокруг “Сеанса” собрались те, кто много значил и еще будет значить в моей жизни – Ира и Леша Тархановы, Таня Москвина, Миша Трофименков, Лена и Андрей Плаховы, позже – Паша Гершензон и Элла Липпа. А ты, погруженный по уши в наш роман, оказался вне этого круга. Сначала не пришел на первую редколлегию, потом не сдал в срок статью. Да и к журналу отнесся скептически: дизайн казался тебе претенциозным, компания – разношерстной, Люба – слишком страстной. Только много позже я поняла, что слишком страстным главный редактор быть не может и что Любина страстность создала, спасла и удержала журнал. (“К чему вся одаренность без страсти и воли?” – спрашивала Цветаева.)

Люба была глубоко обижена тем, что ты игнорируешь “Сеанс”, но, как все пассионарии, готова была немедленно простить, принять, обнять и полюбить पुще прежнего. Ты, конечно, был самым талантливым кинокритиком в Питере – да и в Москве, если не считать Тимофеевского, который тогда много писал о кино. Но ты не был автором ее “Сеанса”. Как такое могло случиться? На меня Люба смотрела настороженным ревнивым взглядом человека, у которого отняли что-то, что по праву должно принадлежать только ему. “На кого ты меня променял?” Кажется, именно в Репине вы договорились, что в “Сеанс” ты все-таки будешь вовлечен, войдешь в редколлегию и всё такое.

Люба была хорошенькая, плотная, но не казалась полной, с большими зелеными глазами за очками, которые она снимала в моменты, когда хотела произвести впечатление на мужчин. Одета была в джинсы и яркую зеленую кофту, темные волосы заплетала в две детские косички – помню, эти косички меня удивили. В Любе горел огонь. Меня, болезненно застенчивую, для которой разговор с любым малознакомым человеком был пыткой, поразило, как легко она общается с известными людьми – без всякой дистанции, как равная с равными. Во-первых, по праву своей редкостной витальности. Во-вторых, исходя из уверенности, что делает лучший в мире журнал о кино. В зале Люба сидела рядом с Алексеем Германом, который казался мне

небожителем, и болтала с ним так небрежно, будто была самым важным человеком в его жизни. Ты тоже так умел, но тебе это давалось внутренним усилием, свою легкость ты талантливо имитировал. Люба умела и любить, и ненавидеть – и, если ты попадал в поток ее любви, скрываться или сопротивляться было бесполезно. И так же бурно она могла перейти от любви к ненависти. Я запомнила, с каким простодушным детским счастьем она смотрела “Графа Монте-Кристо” с Жаном Маре, которого показывали в репинском кинозале. Мы с тобой тоже туда пошли, но до конца не досидели.

Между работой и жизнью Люба ставила знак равенства. “Сеанс” для нее был не просто журналом, а семьей, миссией, сектой, образом жизни, включавшим пьяные посиделки до утра, пение советских песен, разговоры о главном в густом сигаретном дыму. Ты не умел растворяться в групповом экстазе, опасался любого кликушества, держал прохладную дистанцию между дружбой и профессией. Наверное, во времена студии “На подоконнике” ты прошел этот юношеский этап группового единения, но там ты был творцом и движущей силой коллективного духа. А здесь – кем-то другим. Конечно, ты, привыкший всегда и везде быть в центре внимания, не мог этого выдержать и предпочитал вовсе оставаться в стороне. К этому моменту ты уже совсем не пил, что не способствовало экстатическому слиянию. Так что, даже будучи вовлеченным в дела “Сеанса”, ты оставался чужим, скользил по поверхности, умело изображая то восторженную наивность, то профессорскую сухость, то бесшабашную веселость – словом, то, что в данный момент нужно было Любе. Тебя слегка раздражало, что Люба хотела наполнить журнал до краев обнаженными эмоциями, тебе казалось, что эссеистика “Сеанса” балансирует на грани дурного вкуса. Но Люба, конечно, была права. Время требовало именно такого журнала – по-женски страстного, не похожего ни на академическое “Искусство кино”, ни на глянцевого “Экран”. Эмоции через край вместо сухого анализа. Пафос, усмиренный черно-белым авангардным дизайном (за дизайн отвечала Ира Тарханова, жена моего будущего мужа Леши, вот так у нас всё переплелось). Большой формат, матовая бумага, неизбитая лексика, эссе вместо рецензий, манифесты вместо передовиц. Люба любила сравнивать “Сеанс” с *Cahiers Du Cinema*. Сходство если и было, то только в том, что оба журнала выразили свое взбунтовавшееся время.

Не помню, кто первый назвал Любу “маманей” – прозвище, которое за ней закрепилось. Наверное, это все-таки был ты.

– Маманя – бандерша, – говорил ты.

И в этом было столько же восхищения, сколько и легкой брезгливости. Ты шуточно называл ее “Рыба моя!”, маманя млела и хохотала, как филин. Когда мы стали общаться чаще, хитрая Люба быстро поняла, что наложить на тебя лапы легче всего, подбравшись ко мне, и стала называть меня “маманя маленькая” – в знак нашего душевного родства и в противовес себе, “мамане большой”. Тебя это страшно раздражало:

– Какая ты, на фиг, маманя, Иванчик?

23

5 мая 2013

Привет, Иван! В нашей паре ты был большим Иваном, а я – маленьким, несмотря на то, что я была выше тебя. Но тебе нравилось, когда я называла тебя большим Иваном. И ты, конечно, был для меня таким огромным! И – светлым, легким, ласковым. Куда ушли надменность и поза, которые раньше так пугали меня? Начало нашей совместной жизни совпало с наступлением голодных осени и зимы 1990–1991 годов. Мы как-то со стороны наблюдали, как из магазинов стремительно исчезают продукты. Последними остались болгарские консервы под названием “Славянская трапеза” – из них на пустых полках выстраивали огромные пирамиды. Мы прикончили немало этих трапез. Открывая очередную банку, ты вздыхал: “Съешь меня, и я вернусь”. Потом исчезли и они. Нам выдавали карточки, но за продуктами надо было стоять в длиннющих очередях, чего никто из нас делать не мог. Карточки, чтобы не пропадали, забирали родители, покупали на них макароны, муку, маргарин, сахар – и почти всё отдавали нам.

Ты по тем временам неплохо зарабатывал, метался по каким-то видеосалонам, которые открывались повсюду. Своих видеомэгнитофонов почти ни у кого не было, у нас в том числе. В салонах показывали всё что угодно – от “Калигулы” до “Амаркорда”, от “Греческой смоковницы” до “Великолепной семерки”. Народ, изголодавшийся по западным картинам, валом валил на всё. За салонами пристально следили власти, опасаясь порнографии и всякого тлетворного влияния. Прокатчики нашли выход – перед фильмом вставляли видеозапись вступительного слова киноведа, объясняющего художественный смысл данного произведения. Ты это делал виртуозно, почти без подготовки, артистично создавая ощущение серьезной академической подоплеки – что, собственно, и требовалось. Платили отлично – кажется, 50 рублей за каждую запись. Моя повышенная аспирантская стипендия была 120 рублей.

На эти деньги ты покупал на рынке сало, картошку и лук – наша любимая еда в ту зиму. Это было удивительно вкусно, особенно если в сале попадались мясные прожилки. Из муки и маргарина, добытых по талонам нашими мамами, я научилась печь слоеные пироги – то с капустой, то с картошкой. И еще мы варили макароны и делали к ним примитивный соус – жареный на растительном масле репчатый лук. Лука было много, и получалось совсем неплохо.

К зиме в кооперативных ларьках появились какие-то фрукты. Я жить не могла без фруктов, и ты тратил кучу денег на огромные яблоки “Голден”. Они продавались не везде, и ты рыскал по ларькам в поисках “желтых с точечками”. Красные яблоки сорта “Джонатан” найти было легче, но разве можно сравнить! Ты победно приносил желтые яблоки домой и умилялся моей радости.

Эту голодную зиму все вспоминают как жуткую, а мы никакого голода не заметили. Были счастливы, никогда не ссорились, много смеялись.

Каждый день мы жадно исследовали души друг друга, а каждую ночь не менее жадно исследовали тела.

24

6 мая 2013

В начале весны я торжественно принесла домой драгоценный кусок сыра. Отстояла за ним длинную очередь в одном из первых в городе кооперативных магазинов на улице Пестеля. Сыра мы не видели больше года. Он стоил 150 рублей килограмм. То ли российский, то ли пошехонский. Я купила, наверное, грамм 250, потратив едва ли не треть моей стипендии. На сыр мы пригласили твоих родителей – это и в самом деле было нечто необыкновенное. Твоя мама подносила кусочек к носу, вдыхала и говорила:

– Есть жалко, но хоть понюхать.

В мае или июне на Невском продавали бананы – по 50 рублей за штуку. Люди стояли рядом, растерянные. Вроде бы такая экзотическая редкость – бананы, надо брать. Но за такие деньги! Я отчаянно купила один банан – для тебя. Это было моим способом объяснить тебе в любви. И ты это понял. Ты увидел меня в дверях с бананом и даже растерялся:

– Иванчик, неужели ты это для меня купил? Включил музыку и самозабвенно плясал с бананом в руке по всей квартире. А потом почти весь скормил мне маленькими кусочками.

В ларьках на Московском вокзале иногда появлялось черносмородиновое мороженое в бумажных стаканчиках. Ты знал, как я его любила, и бегал туда по два раза в день, чтобы проверить – не завезли ли?

Не так давно я рассказала Линде Велс, главному редактору американского журнала *Allure*, как ты купил мне духи *Climat*. Она была так растрогана этой историей, что описала ее в письме редактора. Ты там фигурируешь как *Karina's husband*.

Духи всегда были моей манией, магической формулой мечты, надеждой на чудо, заключенной в маленький пузырек. А *Climat*, которые когда-то мой отец подарил моей маме, казались самым прекрасным запахом на свете. Тебе нравился не столько запах (к запахам ты был равнодушен), сколько дизайн коробки и флакона: “Посмотри, это же чистейшее ар-деко!”

На углу Невского и Караванной открылся тогда магазин *Lancôme* – невероятное по тем временам событие. В витринах – лицо музы Линча Изабеллы Росселлини с красной помадой на губах, внутри – невиданные заморские сокровища. Чтобы туда войти, нужно было стоять в сорокинской многочасовой очереди, писать на руке номер, приходить на перекличку. Говорили, что здесь продаются духи *Climat* – за бешеные деньги, конечно, но кто считает, когда речь идет о мечте!

Я не то чтобы их просила – я о них мечтала. Вслух. Тебе этого было достаточно. Не знаю, отстоял ли ты лютой январской ночью очередь на углу Невского, договорился ли с кем-то, чтобы тебя пропустили быстрее, или просто заплатил спекулянту втридорога. Ты не посвящал меня в детали. Просто принес заветный голубой флакон, заставив пережить острое мгновение счастья. И сам был счастлив – кажется, даже больше меня.

Год назад знаменитый французский парфюмер Франсис Куркджан сделал специально для меня именные духи – в единственном экземпляре. Их создание напоминало сеанс психоанализа. Я рассказывала ему о запахах моего детства и о запахе нашего с тобой *Climat*. В конце концов он прислал мне флакон бутылочного стекла, напоминавший старинный аптечный. Флакон был украшен надписью – “*Karina D*”. Казалось бы, вот оно! Моя мечта, воплощенная в душистой формуле, моя душа, заключенная в склянку. И ни у кого в целом мире нет ничего подобного. И названы эти духи в мою честь! Я смотрела на зеленый флакон, вдыхала тонкий аромат – и ничего не чувствовала.

Безумно жаль, что мы потеряли способность радоваться и получать удовольствие от простых вещей. Ты часто говорил о кино, которое надо осязать. О кино на ощупь. Жизнь мы тоже тогда пробовали на ощупь, на вкус, на запах, будто открывая ее заново. Неземной вкус банана. *Blow up* на большом экране кинотеатра “Спартак”. Терпкий и свежий вкус киви. Рассказы Довлатова в таллинском журнале “Радуга”. Жирнющее финское мороженое “Ятис” с клубничным джемом и шоколадом на дне вафельного рожка. “Горькие слезы Петры фон Кант” в Доме кино. Хруст мюсли с изюмом. Итальянские туфли на шпильках в “Пассаже” на Невском. Приторный “Сникерс” с жареным арахисом и кокосовый “Баунти” – райское наслаждение. Книжка “Хичкок / Трюффо” на русском языке, пусть даже и без неотделимых от нее картинок. Нежнейший шампунь *Head&Shoulders* — ну и что, что от перхоти, зато с кондиционером в одном флаконе. “Мифологии” Ролана Барта – философия, которая читалась как детектив. Блестящие нейлоновые лосины из кооперативного ларька. “Проклятие Дейнов” Дэшила Хэммета – детектив, который читался как философия. Драгоценная склянка головокружительных французских духов. Всё вызывало чувственную дрожь, восторженный захлеб. Счастье было легким, естественным и таким близким – на расстоянии вытянутой руки.

Наутро после того, как ты подарил мне *Climat*, я проснулась с ощущением, что в моей жизни случилось что-то потрясающее. Что? Что? Я лежала в постели рядом с тобой (ну то есть на диване, конечно, мы все тогда спали на шатких раскладных диванах) и вдруг почувствовала едва уловимый запах духов на своей (или уже на твоей?) коже. И я физически ощутила, какое же это счастье.

Ну что теперь может меня так обрадовать?

25

7 мая 2013

Привет, Иванчик! Мы с тобой почти никогда не обсуждали наши отношения и почти не говорили о нашей любви. Да и что было обсуждать? Быть вместе было так же естественно, как дышать или есть. Мы никак не могли наговориться, не могли оторваться друг от друга, мы всё делали вместе, смотрели одни и те же фильмы, читали одни и те же книги, вырывая друг у друга (они хлынули к нам – от Чандлера до Довлатова). По несколько раз в неделю ходили в Дом кино, принимали гостей на кухне – чай с хлебом и вареньем (моя мама снабжала, варила из дачных ягод) считался неплохим угощением. Я, измученная Марковичем, не предполагала, что семейная жизнь может быть такой легкой и такой радостной. Была мы не замечали, общими усилиями с ним справлялись – домработниц, разумеется, тогда ни у кого не было. Я не была хорошей хозяйкой, убирать и мыть посуду терпеть не могла, зато любила готовить. Пытаюсь сейчас вспомнить, что именно я готовила во времена, когда и продуктов-то никаких не было. Что-то придумывала. Когда в магазинах появилось замороженное слоеное тесто с диковинными названиями “круассан” и “турновер”, я его размораживала и начиняла – яблоками, луком, рисом, картошкой. Получалось вкусно, тебе нравилось. Варила крестьянский гороховый суп – разумеется, без мяса и без копченостей (какие копчености, откуда?), но с сырым луком и нерафинированным подсолнечным маслом. Причем масло и лук надо было добавлять, уже выключив огонь. До сих пор считаю, что этот суп был замечательным, я и сейчас бы от него не отказалась. Другой суп – из кисломолочного сырка с овощами (его научила меня делать Люба Аркус) – тоже отличная штука! И крохотные овощные пиццы из кабачков, помидоров и сыра. А уж сколько мы съели картошки во всех видах (как в фильме “Девчата” – картофель фри, картофель пай). А сколько яиц! До появления хлопьев завтрак всегда состоял из яиц – вареных или жареных. “Матка, яйки!” – приговаривал ты, вытаскивая очередное яйцо из холодильника, и уморительно голосил на мотив песни “Маки, маки, красные маки, горькая память земли”:

– Яйки, яйки, красные яйки, били по ним сапогом! В них теперь развиваются спа-а-айки...

Ты любил мясо и страдал от его отсутствия. Перед новым годом я купила на уличном лотке страшный обледелый кусок говяжьей вырезки и сделала в праздничную ночь “мясо по-французски” – распространенный деликатес эпохи. Мясо надо было отбить, посыпать тертым сыром, залить майонезом и запечь в духовке. Сейчас содрогаюсь от одного воспоминания, а тогда казалось: шикарно! Уже после твоей смерти Брашинский привел меня в маленькое кооперативное кафе в подвале на улице Правды, сказал, что ты часто приходил сюда в последний год, тебя тут любили, жарили твою обожаемую свинину. Я обрадовалась, что ты поел вволю мяса. Тебе его так не хватало.

Наверное, я мыла полы, как-то там пылесосила, протирала, но совсем этого не помню. Посуда и стирка доставались тебе, ты кипятил белье в огромной кастрюле (стиральная машина появилась позже), размешивая его длинной деревянной палкой от швабры. Разумеется, устраивал из этого целое представление, изображая то ведьму из “Русалочки”, то индейца с копьем, то танец с шестом.

Мне кажется, что за всю нашу совместную жизнь мы произнесли “я люблю тебя” всего несколько раз. Почему? Боялись эти слова обесценить? Боялись открытых чувств? Или это было и так ясно, без слов? Ты редко говорил о любви в придаточных предложениях, вроде

безопасного: “Ты ведь знаешь, что я люблю тебя”. К тому же ты всегда посмеивался, если кто-то хотел поговорить “про любовь, про отношения”. Именно так, через запятую, с легкой усмешкой, ты это и произносил.

И писал ты о любви совсем мало. Зато много – о смерти. Хотя вот нашла у тебя про кино, “которое столько раз показывало жизнь, смерть, любовь и измену. Но так никого и не научило жить, умирать или избегать предательства”. Ты специально пропустил глагол “любить”? То есть любить – научило? Умирать и избегать предательства – не научило, конечно. И тебе ли этого не знать.

Мой Сережа любит говорить о чувствах, копаться в них, разбирать эти самые отношения по косточкам. В первую же ночь мы пообещали друг другу не влюбляться, но уже через две недели сказали “самое главное”. Мне сейчас так нравится этот любовный лепет, я смакую каждое слово – даже если и не всегда чувствую то, что говорю. Как будто, если я произнесу эти слова много раз, что-то и в самом деле проснется, вспыхнет, оживет. Мне больше совсем не жалко слов! Почему я их так берегла с тобой, Иванчик? Почему не говорила тебе этого каждый день? Почему не целовала тебя сотни раз, как целую моего нового Сережу? Казалось, впереди столько лет, куда спешить? А теперь надо спешить, ведь у меня нет иллюзий по поводу будущего с Сережей. В нашей с ним истории не умрет никто, кроме любви.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.